Зоф 181

м/ф $\frac{к-1}{14104}$

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

НА ПЕРЕВАЛЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО З. И. ГРЖЕБИНА
БЕРЛИН * ПЕТЕРБУРГ * МОСКВА
1923

ΚΤΗΜΑ
ΕΙΣ
ΑΕΙ

Ф70 В-5/1

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

В-/1

НА ПЕРЕВАЛЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО З. И. ГРЖЕБИНА
БЕРЛИН / ПЕТЕРБУРГ / МОСКВА
1923

Alle Rechte, einschließlich des Übersetzungsrechtes, vorbehalten

Copyright 1923 by Z. I. Grschebin Verlag, Berlin.

Типография H. S. Hermann & Co., Berlin.

КРИЗИС ЖИЗНИ

1.

«Гремящая тишина»!

Девятнадцатый месяц со мной она в мертвом шелесте городов, в мертвом беге часов; утром, ночью и днем — все гремит с горизонта.

Есть особая тишина у швейцарской провинции этого угла Базельланда, в котором засел я давно; неподобна она тишине русских ширей, где сердце бунтует, где все — необ'ятно, где ветром несутся пространства; и падает небо на вас самоцветною звездочкой; все под ним отступило: все — плоско; все — ровно; глаза упираются в переливы заката и в кудри косматого облака; и тоска или радость, от которых нет выхода, угоняют вас прямо в смерть.

Здесь, в Базельланде, все — скучно; все — скученно: несуетливо, но — душно; и внятно гласящее небо здесь часто закрыто, и внятно светящее слово зажато в гортани неповоротливых обитателей двух деревушек, между которыми поселился я до войны; жители Арнсгейма и Дорнаха не внимают давно уже голосу внятно гласящих орудий с эльзасской границы.

Битвы в Эльзасе обычны: как падение местного водопадика, эти битвы сопутствуют вашей жизни; вы их слышите: говором пушек — оттуда, с границы: вот «оно» — загремело: гремит.

И гремело так год назад; через год — отгремит ли*)?

Обыватели местных поселочков собираются посмотреть на фонарь, только что поставленный меж двумя деревушками, как ходили когда то под праздник они любоваться с холма на чуть видные огонечки шрапнелей — о т т у д а.

---

*) С той поры, как написаны эти строчки, прошло уже более двух лет; уже около двух лет я в России; а вокруг — все «гремит».
Примечание автора.

2.

Нас обстал кризис жизни: на перевале сознания подстерегают нас кризисы жизни; приложенья понятий к техническим производствам культуры плотнят нашу мысль: не живая, она превратилась в абстракцию; материальное тело абстракций — машина.

Машина восстала на нас: мир стал — мир материально-машинный: и черствый, и чувственный; черствая чувственность — роковой наш удел.

Мир природы — преставился: ненормальная вытяжка из природы его заменила; утерялась в нас «вещность», сменяясь экстрактом и нет нам предметов, а есть предмет-и н ы.

Чревоугодие материальной культуры продукт очерствления.

Слепота — тончит ухо, а глухота — тончит глаз: неужели же для утончения зрения мы должны протыкать барабанную перепонку? Это было б безумием. Но на безумии этом построен рост знаний; богатства машинного мира разростаются в мире ценой оглушения, иль ценой ослепленья; глухие, слепые, немые вершат нашу участь.

До с т о л ь к о г о дожили мы! До чего доживем, я не знаю.

Мы не видели удаленных молний грозы; мы увидели зарева сожигаемых зданий; расслышали — пушки; легкий говор сознания и голоса сознающих еще — все еще! — не расшибли на нас глухоты; не расшибут они — в будущем.

Голоса нарастающих громов культуры — гремели столетия...

Если б нам уши!

3.

Лучшие традиции Возрождения мы столетия низводили на нет: убивали столетья конкретную значимость жизни; и — говор явлений; Возрождение призывало нас явственно: полюбить все явления мира; и в Возрождении по отношенью к явлениям жизни художник с ученым сливается; художник глядит на явление — мудро; ученый явление греет ласкающим опытом.

Таков Леонардо: наука его красотою пронизана вся; а искусство в нем — мудро; любовные опыты — опыты Леонардо-да-Винчи.

Но опыт Рожера Бэкона из средних веков — уже пытка явленья: убийство явленья; терзанье, кромсанье его; раскромсанье предметов, убийство предметов перенесли мы в XVI век, вопреки всем вершинным традициям гуманизма: часто опыт природы был пыткой ее; так: XVI век, зацветя инквизицией и закруглившись в барокко (в развратно-утонченном Style jésuite), перенес инквизиционные приемы терзанья, пытанья в мир целей, цветущей природы; в опытах разрушались предметы для добывания всевозможных гастрических лакомств: и вещь и реальность, как цельное нечто, распались от этого: на абстракцию (пресловутую «вещь в себе») и на труп от конкретной реальности, на феномен, на «вещь для нас»: на продукт потребления буржуазной культуры; материальное тело культуры ее превратило в... часть брюха: в отложение жировых желез, в суб'ективистическую отрыжку действительности; развитие философии сосредоточилось на методологической разработке всевозможных о т р ы ж е к; и пошли расти «научные» феноменализмы и скептицизмы.

Style jésuite, развитие материальной культуры, номинализм новейшей формации философии коренятся в едином источнике: в разложении конкретного мира на абстракцию и на вытяжку для гастрических потреблений; но в гастрическом потреблении — еще полной реальности нет, и вкусовая отрыжка комфорта — не действительность вовсе; точно так же: в теоретических выводах специальных отраслей знания перед нами не мир, а разве что... проэкционный пунктирик, да понятия именно в наших точнейших науках сведены часто к графике; и об'яснить, понять, — это значит: изобразить сеть кривых и условно исчислить их; дифференцировать — еще не значит: учить пониманию; и чертить графы — не значит осмысливать.

Так первичная конкретность идеи о конкретном предмете подменяется в нас эмблемой. Эмблемами мы исчислили необходимость войны; эмблематически прикинули военные партии всего мира размеры добычи; проэкционным пунктириком изобразили ученые инженеры возможные орудия истребления; возникали науки об уничтожении себе подобных; не забуду я никогда: еще будучи гимназистом, я нашел на столе у отца два почтеннейших кирпича, испещренных внутри крючковатыми знаками интегралов и функций; это было два руководства; одно называлось: «О внешней баллистике» (о движении ядра вне пушечного жерла); другое же называлось: «О баллистике внут-

ренней». Две почтенных науки об уничтожении себе подобных блистательно развивались; и бескорыстное открытие Лейбница (дифференциальное исчисление) применили таки мы к войне; преподавание метода убивать своих ближних разработали математики, инженеры, механики, техники культурнейших, цивилизованных стран; сотни тысяч убитых убиты еще до рождения: быть убитыми предначертаны.

И знай Лейбниц, что в лучшем из миров открытие его ляжет в грядущее массовым истребленьем людей, колоссальнейшей бойнею мира, — как знать: может быть, свое открытие сжег бы он.

Мы браним нынче Круппа. Нашелся общественный деятель, соединивший с Круппом... и философа Канта. Но... почему Канта именно?.. Надо брать — раньше: Лейбниц — виновник теперешней бойни народов; или вернее: за Лейбницем спрятанный, тонкий гастроном культуры, вооруженный наукою, как ножом, для... мирового разбоя. Появился же этот разбойник, как прямое наследие отношенья к явлениям жизни: в тот момент, как идея в явлении угасает, явление есть предмет потребления; но явление для меня — предстоящее всякое, «ты»; и оно, это «ты» потребление.

Вивисекционные опыты с жизнью — они породили ту бойню, в которой живем: и не Лейбниц, а ранее Лейбница появившийся Бэкон, быть может, виновник характера современной войны.

Раз идея в явлении пропадает, явление — предмет потребления; и оно начинает тогда округлять нам желудок; «капиталистическое» проявление желудочной деятельности разростается в нас; наш желудок теперь вывисает из нас толстым брюхом; и мы — брюхоногие пауки, а не люди; конкретности жизни нам — жир; идеалы живые — пунктир на бумаге, рисующий в знаках законы... баллистики; истина есть «не сущее»; и оттого-то в «не сущее» принимаемся мы превращать вечно сущие жизни; истребляем и рвем их вокруг.

Вместо слияния с миром — господствует: пожирание мира и раздробление мира; то есть: введение мира в желудок для накопления... жировых отложений. Человек XX века — безмясый скелет, опухающий жиром; вместо знания и сердечного отношения к жизни у него господствует два усвоения жизни: при помощи мозга и при помощи функций желудка; первое усвоение — «крап на ничто» (т. е. крап электро-

нов над бездной); и при помощи этого «дифференциального крапа» слагает он на бумаге чертежики пушек; усвоение же второе — чревоугодие; лишь оно одно доминирует в нем; малокровная мысль, превращенная в крап электронов, становится техникой чрева, изготовляя ему искусственные, многозубые челюсти крепостей, изборожденные пушками.

4.

Мое окошко — в долину; цветущие, белокудрые вишни весною глядят из него; вечерами восходят закаты; в него свистит ветер — всю осень, всю зиму; над вершинами низкорослых деревьев — отчетливая черепица домов; дальше дали, бегущие в линии голубоватых холмов; в голубоватом тумане — граница; будто бы иногда распахнется там воздух; перед ненастьем особенно; и прорежутся темные гребни Эльзаса.

Вот оттуда то и летит:

— «Ру-ру-руууу»...

Порой отзываются стекла окон; вдруг не выдержат; и — расплачутся; звук немецкой пушки я знаю: отчетливый, надоедливый звук; а вот это невнятное «у-у-у» — вероятно, французская пушка; говорят: из Мюльгаузена и из Бельфора звук пушек доносится внятно до Дорнаха.

Так говорят эти пушки — дни, месяцы: девятнадцатый месяц здесь, в Швейцарии, пушки молчат; но молчание здесь чревато глухим, наростающим взрывом; будут взрывы повсюду; и из груди, как жерла, оторвавшись от жил, точно бомба, взорвется кровавое, обнаженное сердце; человек в эти дни, точно пушка: заряжен он кризисом.

Тема кризиса сплетена с возрождением. Тема гибели мира связуема с темой рождения. Не случайны поэтому голоса, нас зовущие к выси духовной: переродиться пора!

Голоса Мережковского, Ибсена, Штирнера, Ницше, Владимира Соловьева звучали. Звучит голос Штейнера. Выявляя нам нервы культуры, гласят очень внятно они о падении великолепных обломков культуры; и — о паденьи домов: домов старого строя.

Дома — под обстрелом.

И под обстрелом, быть может, вся эта тишайшая местность: в первый месяц войны, Боже мой, что тут было; появились французы в предместье Базеля, St. Louis; понадвинулись с се-

вера немцы; и собирались вдавить из Эльзаса в Швейцарию, к нам, передовые французские части; поразвесили об'явления о возможности битвы под Базелем; ожидали мы с часу на час здесь сигнала тревоги; по первому знаку сигнала должны были мы налегке пробираться — туда, через горы: чрез кряжистый Гемпен, висящий над Дорнахом. По дорогам задвигались швейцарские пехотинцы; трещал здесь и там барабан; батареи уставились по направленью к границе; в пыли забелели султаны; и — фыркали лошади; заскрипели телеги с фуражем; а сумасшедшие, исступленные кучки кричали, что надо бежать: нейтралитет будет попран. Говорилось тогда об обстреле домов; этот дом — не опасен, а этот — опасно поставлен.

Но опасно поставлен не дом, не окрестность, не даже кантон, не страна; вся культура — опасно поставлена; вся под обстрелом она. Все кумиры культуры — в опасности; изображения Вотана, Доннера, Логе — падут; гибель старых божеств волим мы. Старый бог, бог войны (alter Gott): должен пасть!

Рушатся представления о данной действительности; рушатся переживания ее; пропадает в нас строй ощущений, будто «я» в ней находится; пропадают реальные ощущения «я»; действительность убежала от «я»; утекла от него; как свинцовая гиря, стремительно погружается в глубину подсознания «я»: его целостность топится всекипящим движением мира:

В какие то кипящие колеса
Душа моя, расплавясь, протекла.

5.

Должное, реальное знание — в усвоении предмета узнания; а совершенное знание, сосредоточившись на методе, предмет упраздняет; предметом узнанья становится метод; и вне метода — хаос: вращение газов в желудке.

Самые органы чувств порасшатаны современной культурою; и пропитаны — алкоголем, пропитаны — никотином; восприятия органов чувства — никотинны; в них луг пахнет дымом; в восприятиях наших природа убита давно; пошлый рев паровоза — неот'емлемая принадлежность обычного европейского пейзажа; и — линия телеграфных столбов; а фабричная гарь — принадлежность зари; естественных восприятий в нас нет; и оттого-то нам нужны абстракции доказательств и самая материя потребления; осязание, грубейшее чувство, оно только живо в нас.

Так предметы узнания уничтожаются нами: в процессе узнания распыляются в голове электронным пунктиром и раздробляются на зубах при ведении в «чрево». Вместо конкретного мира поэтому вырастает мир в нас танцующих математических знаков (дифференциалов и функций), роящихся, точно грязные мухи над миром... желудочных отбросов.

Вот — подлинный, неприкрашенный образ материальной культуры; и вот результат: потребление мира природы, ее раскромсанья на части; то есть разложение ее — нами, в нас, вокруг нас; мир отсутствует в нас и вне нас; мы из мира повыпали: полетели над бездной в... действительность, несоизмеримую с некогда данной от Бога.

Действительность, нам грозящая, прорезается явственно, под покровами умерщвленной природы; вот она показалась уже, пока видная нам в аппаратах, приборах и лупах, как мир... инфузорий; но аппараты, приборы и лупы воистину суть наши новые органы чувств; мы испортили наши природные органы; кто-то нам подарил мир искусственных органов, прилипающий к глазам и ушам, прирастающий к безорганно висящему малокровному мозгу, протягивающему во все стороны, точно спрут, свои вялые разветвления нервов: высасывать соки природы; на обнаженные нервы, лишенные кожных покровов, насели нечистые мухи, роящиеся над сознанием нашим математическим знаком; обнаженные нервы естественно бронируем мы: сталью, железом; бронированный сталью, бесформенный, нервный, безжалостный спрут — вот искусственный человек, приготовивший нам мировую войну.

6.

Мир бактерий грозит в микроскопах: «Вот я выйду из труб микроскопов; и расселюсь среди вас: бактерии заживут человеками; через трубу микроскопа вы свалитесь все в микроскоп; и — заживете бактерией».

Воистину, на земле мы — «как будто»; где ее былой лик? Где ее конкретная правда? Материальная культура — не культура земли: земля — идеальна, конкретна, природна, естественна.

7.

Люблю землю я: она — горная, кристаллически чистая масса; лишь ее поверхностный слой — унавоженный перегной; уна-

воженный, дурно пахнущий перегной, перепачканный всевозможными отбросами, в представлении большинства производителей материальной культуры — земля. Но земля есть огонь: огонь лавовых струй; и с навозом не смешана.

И земля, — это горы.

Вспоминаю скитанья в горах; мыслишь там — ни о чем; ни о чем — свисты ветра.

Но никчемные мысли летают огромными ритмами; мыслью рушатся горы: в душе водишь думы; идешь себе; уж не смотришь: в полузакрытых глазах метаморфозы обставшего пейзажа сотворяются заново: полуобразом, полумыслью; там линия пиков змеится орнаментом мысли, овеянной ветром; ты ветряный: в голове твоей ветер; останови его; и — фиксируй: он тотчас же уплотняется силлогизмами; сознанием проницаешь ты ритм вне-сознательной мысли.

Где нибудь перекусишь; и — далее.

Сознание наблюдает, описывает прорастание мыслей из красочных пятен фантазии; и — прорастание в эти пятна тебя обстающих громад: громады поят тебя мыслью; они — чистая, кристальная мысль, там осевшая горной породой; и здесь вставшая — философемою, как вот эта долина; ты прошел шесть долин; шестерично переменились рельефы; шесть систем философии пробежало вершинами: Гете, Гердер, Новалис, Шлегель, Шеллинг и Гегель — прошли пред тобою.

Ты видел воочию их. Твоя мысль ни о чем, пробужденная в душу павшими пиками, осозналась; и — вот она: мысль и природа — одно.

Человечна и мягко гуманна природа; в ней нет извращений; но человеческий взор озирает ее плотоядно; человек современности на нее воззрился, как кошка на птичку; птичье пение — есть; но в зажаренном птичьем мясе нет пения; в «потребленной» природе идея убита; и — мертвой материей противостоит она нам; материализм — вне природен.

Основа природы — природа идеи; и философия тождества Шеллинга проверяема горным ландшафтом; слушай пенье потока; записывай точно, что встанет из пенья потока в душе у тебя; правда Гетевой мысли откроется явственно: «манифестация тайных знаков» природы в умении понимать жизнь сознания; метаморфозы идей уподобляемы метаморфозе растительных организмов; метаморфоза идеи — кон-

кретна, точна, наблюдаема, описуема; и описание точной фантазии мысли и есть философия.

Вот гуманнейший лейт-мотив в мировоззрениях Гете, Гегеля, Шеллинга, Гердера; и — других; и — вещая фантазия мысли (сознание и природа — единство в природе идеи) — гуманна; корни русского самосознания в ней, в этой мысли.

Бросать камнями в эти мысли, не значит ли — откровенно итти на разрыв с нас зовущей природою; эта природа — природа сознания нашего: но подчас представления о природе в нас подменяются представлением о «трамвайной», о «материальной» культуре, в которой природа — машина.

8.

Всякий знает из нас — вот такую невнятицу: вдруг покажется, что в напряжениях материальной культуры на-двое разрывается жизнь, что машины бьют в пульсы слабеющей жизни железными пульсами; схватит такая минута стремительно в суете городов; и покажется вдруг, что вот он, фешенебельный господин Манекен с угла уличной вывески рекламирует немо толпе производство Гомункула; и — рост механической жизни покажется грозным наростом; пухнет опухоль городов — пора ампутировать опухоль: материальное тело жизни — раздуто чрезмерно.

Безотчетности эти переживаем мы все; и горизонты сознания возникают пред нами; горизонты гремят своим кризисом; материальную опухоль жизни пора ампутировать: человечеству угрожает гангрена.

Помню день.

Все червонилось, багрянело; все — рдело; птичий свист уносил; говоры оголтелых утесов гремели, дрожали; рыдали потоки; землевороты бежали под небо и ясногранною вереницей плотнели в тенях, гребни резали небо; серебрились осколки их; прорезались покровы природы, прорезалась навстречу природе — природа сознания; и природа в природу сознания поглядела, как: Сфинкс; земли не были землями: одухотворились и жили они, как природа идеи.

9.

Материальная культура давно отошла от земли потому, что земля — идеальна; наш мир — мир искусственных аппаратов, понятий, стремлений и похотей; этот мир — не земля, а пожа-

луй — какая то «Х» планета, быть может созвездия Пса, не созвездия Солнца... Не дети мы Солнца.

Солнце прежнего мира (откуда мы выпали) разве что бьется в нас; мир идеально-конкретный, т. е., небесно-земной — разве что в нашей совести, в беспредметно поющей, ритмической Аполлоновой музыке наших душ; может быть в поэтической сказке; подлинная земля — только он; в нем — остаток конкретности.

Мы его гнали.

Мы подзывали иную действительность; мы столетия сотворяли ее; мы плели себе горькую участь: заплетали нити судьбы; мы расплавили землю в «н е с у щ и е», электроны и атомы; диссоциация мира в картине научных понятий имеет условный, технический, вспомогательный смысл; мы осмыслили тот смысл: возвели его в перлы «идейного» творчества; перед нами восстала картина — разрыва действительности; распадается, разрывается человек — под говором пушек.

Гуманизм убит механизмом; земная конкретность убита машиною; восстание на человека машины — пока что — эмблема; но в эмблемах, в предчувствиях, в прообразующих жестах встает лик Грядущего.

10.

Первое впечатленье от Сфинкса:

— «Старая обезьяна, урод, эфиоп».

Последнее впечатление:

— «Ангел».

У подножия Сфинкса бывал очень часто я; тайна слиянности в нем Аполлона и эфиопа меня поражала всегда; эта тайна вырвала его из веков; этой тайною он притянут к XX веку до нашей эры; и — после; так оба XX века пересекаются в Сфинксе: а прибои культур пеною разбиваются о него; он глядит — из под греческой маски; и из под рожи современного футуриста-художника; злободневность в нем разорвана в Вечность; и в нем Вечность сама — злоба нашего дня; в нем слиты полярности пола (он — $\delta\Sigma\varphi\iota\gamma\xi$; он — η). Нет ничего злободневнее кучи трухлявого камня, на которой изваяна эта старая голова.

Ряд статей одного писателя вспоминался мне в Египте: произведения Достоевского в нем сопоставлены с... египетской графикой, как плоды одинаковых переживаний и

бурь; если так это, то интимное ведение Египта мы носим с собою; его тайны — на улице, где нибудь между Литейным и Невским, а не... в булакском музее; тысячелетия прошлого не вне нас, а — в нас они, с нами; и в движении нашего пальца, в улыбке, в манерах, в цилиндре, во всем строе жизни — осуществившийся синтез Египта, Халдеи, Ассирии и т. д.; откровение ассирийского духа не в кропотливейшем изучении, мало понятных письмен, в — газетной статье, может быть; эзотерика — в умении видеть: на улице—улицу; в храме—храм; под злободневною рябью—океанические глубины все те же, что и под спудом мистерий; пиджаки таинственней мантий; и несомненно мне, что та же священная тайна построила формы фараоновой шапки и каски пожарного; в линии орнаментального завитка на дешевеньком ситчике — линии священнейших таинственных знаков; в бегстве от «улицы» правды нет: в умении видеть на улице сфинксовы тайны — посвящение в мудрость XX века. Собственным ликом на вас смотрит Рамзес II, фараон — из под стекла, в музее среди каирских кварталов, напоминающих мне Париж, а его двойник, полисмэн, феллах стилизованным египетским жестом поднимает на улице белую полисменскую палочку среди автомобильного тока; подлинный лик Рамзеса — феллахский; между Рамзесом и статуями Рамзеса в Мемфисе — ни малейшего сходства нет: впечатления эпохи Рамзеса посещают вас и на улице; вы бываете странно выбиты — изо всех культур и историй.

11.

Кто не знает этого переживания во время горных под'емов? Вы живете в маленьком городке; вы охвачены его жизнью; и вы в нее впаяны; вы сидите в кафе; и со всеми вместе склоняетесь вы над газетою; переживаете события мировой войны, бродите по бесконечным уличкам, над которыми приподнялся далекий, все тот же, пейзаж — точно фон декорации; и все то же озеро плещет, бросая о берег все те же лимонные корки.

Вот теперь вы уходите в горы.

Смотрите же:

— Озеро опустилось под ноги и медленно сжалось; разгладилась его рябь, будто скомканный лист оловянной бумаги отполировала детская ручка; и проступили: главные, невыра-

зимые тоны вод; так проясняются глаза человека в минуту задумчивости и изливают лазури, из извечного устремляясь в века; тает так в современности злоба дня; из под пены ее наблюдаете вы: в современности тысячелетия прошлого:

И—так при поднятии в горы.

Изменяется все: цвет воды, дома, люди, рельефы; бесконечности каменных домовых квадратов и кубов теперь сжаты глубоко под вами — на четком мысочке; а казалось, дальние горы — повытянули свои главы, раздались громадно плечами и перегнулись над озером — прямо к вам: на вас смотрят в упор; то, чем смотрят они, — не война, не события городка, города, столицы, страны, континента, эпохи, периода времени; о современности, понятой в вашем смысле, не может быть речи; и — тем не менее: этот взгляд современен; и эти пространства утесов злободневно кипят множеством неизливных ручьев; Ассирии, Вавилоны, Египты кипели своей злободневностью; и — откипали бесследно; а эти летящие струи кипели все так же; и — тем же кипели; кипение этой жизни — не мертвенно; мертвеннее — сидение в кафе; даже мертвеннее — война; все текущее остановится в XXV столетии, перенесется в музеи (если будут музеи); на мыску там, под вами, будут выситься, может быть, пятиугольные здания со странными куполами: а кипение потоков, взгляд горных громадин — останется тем же все; то же — вызовет он в душе, что — в этот миг происходит; переживание Ганнибала, может быть, стоявшего здесь, вы узнали теперь — с математической точностью; человек XXV века, вы, Ганнибал и пещерный доисторический человек, пересеклись теперь в одном пункте души; и то, в чем вы все пересеклись, есть вечное; кристаллизация культур, эпох, современностей, и довлеющих дневных злоб выкристаллизовались из подобного мига; вы теперь — не над маленьким швейцарским местечком, а над всеми культурами: бывшими, грядущими, сущими; вы — у себя самого, потому что вы — в космосе: и космическая картина создания из под порога сознания городского — она перед вами; в дневнике происшествий перед вами раз'ялися смыслы; загласили они громовыми воплями серафимов; обратно: с глубинного переживания Заратустры слетает покров: и — покрывало Изиды откинуто. Вы теперь мощный горн, где потенции всех небывших и бывших культур протекают в расплавленном состоянии; и — по-

гибни история: из души человека, как из вулкана, поднявшися, вытекут все культуры с тайнами и бестайностями, все кристаллизации истин, все несчетное число их покровов; тут вступаете вы в ту область, где разумение законов и истин не в них, а в самом законе законов, их строющем: в ритме строения, в законе метаморфоз переживаний, мыслей, мод, стилей, линий; здесь сознание перелетает порог, потому что и нет его у сознания; порог сознания сознанию не присущ; порог сознания есть всегда лишь граница, извне застилающая мои кругозоры: не граница зрения, а предмет пред глазами стоящий, как вот эта стена моей комнаты, улицы, застилающей зренье горы; зренье мое видит звезды; в зрении миллионноверстные дали перемогаю свободно я; в сознании — тоже; надо только выйти из рамок; уметь развивать мускулы, способные приподымать меня за порог передо мною положенных стен, и мне не присущих.

12.

Многие жители городов не покидают города вовсе; а для многих больных представление о пространстве связано с представлением о четырех желтых стенках вытарчивающих у них за окошком.

По отношению к сознанию — то же; мы все больны параличами воли сознания; оттого то мы ему искусственно полагаем границу — в пространстве и времени; эта граница в пространстве — стена; и эта граница во времени — злободневность; злободневность и провинциализм нашей жизни из поколения в поколение отпечатали в нас свои представления о границе сознания и о пороге сознания; границ сознанию нет; а пороги сознания побеждаемы — в пространстве и времени.

Ведомы нам дали звезд; и — непосредственно ведомы; а непосредственное переживание тайн истекших культур — звезды Индии, Персии, Египта, Халдеи — будто бы нам неведомы; и будто бы: чтоб понять нерв истории надо кануть в пыль музейных архивов; но музейные данныя не Египту научат нас, а египетской пыли; сам Египет — он в нас; кровь от крови его, плоть от плоти его — мы: следует только твердо отставить систему фальшивых порогов, в которых будто бы сознание наше заключено, как в тюрьму; эти «пороги» — есть пыль злободневности: ее ненужные отбросы; в своих нервах она — та же древность: которую будто бы она заслоняет, и то

же грядущее, которое будто бы и вовсе неведомо нам; оно неведомо в своей «пыли»; и оно с нами — в сути: в ритме душевные глубины обнажены нам бывают порою; надо только суметь произвольно их открывать и описывать явления глубинной жизни сознания; в душе каждого обнажаем колодезь, у которого нет индивидуального дна и который есть выход одновременно в небо духа и космосов; как по тем же космическим принципам образовались планеты всех солнечных систем всех вселенных — точно так же слагаются и слагались фазы истории; и закон фаз во мне; улови его — история встанет передо мной разоблаченной в ее об'ясняющем стержне; а понимание многообразий мелодий ее — только чтение нот; суть не в нотах, а в принципе нотного чтения; и умение чтения знаков событий, искусств, стилей, мод, философий, религий и душевных движений — в умении опускаться в себя, открывая горы и пропасти; кажущееся противоречие между жизнью в себе и других устраняет первый опыт внимания к своим собственным душевным движениям; кажущаяся их хаотичность, невнятность, бесстроица; т. е. все то, что любители звучных слов именуют «с у б л и м и н а л ь н ы м п о л е м» сознания — на сознании насевшая пыль: принимаясь за чистку пыли вы пыль поднимаете; но именно поднятие пыли есть условие очищенья от пыли; при внимательном взгляде внутрь исчезает весь хаос; окружающее отражено вами и чище и четче; в умении отражать —умение понимать; душа — зеркало мира; замутнено оно — мира нет.

13.

Злободневность летит перед нами на своих острейших углах; быт и вкусы кричаще ломаются на протяжении трехчетырех поколений; так в малых масштабах линия исторической жизни рисует контрасты нам; а в огромных масштабах господствует закон сходств; многообразие изломов истории в ее мыслях, вкусах, костюмах, архитектонике стилей, быта, привычек — образует легкую рябь по отношению к основной неизменяемой прямой линии времени; на известной стадии восхождения стирается эта рябь: и отражается в зеркале жизни душа человека; жест куафера и жесты Фридриха Ницше разительно противоречат друг другу пока вы в злободневности, верней в ее отбросах; но погружаясь в себя или только чаще карабкаясь в горы; вы начинаете понимать оба жеста, как мо-

дуляции единого душевного жеста; вся бесстроица мимик теперь — метаморфоза немногих нот мимики, ведомых вам изнутри и глядящих извне на вас: улыбкою египетских статуй, улыбкой Джиоконды и..., может быть, вами виденной булочницы; понимаете вы: что душа древней критянки не так то закрыта от вас, раз XVIII век, столь вам близкий, повторяет пред вами древнейшие критские моды, как гласят нам раскопки.

Возвращаясь с гор, только чутче уловите вы все горное в долинной деревне; возвращаясь из себя в злободневность, вы увидите — вечность в ней.

14.

Ницше, модница, мировая война, дневники происшествий, раскопки на Крите, священные письмена и текущий судебный процесс — злобы дня Вечности, потому что вечное — злободневно; умение переносить тысячелетья, в мгновенья, умение переживать мгновенное в вечном — злободневнейший нерв злобы дня, потому что Сфинкс истории стоит перед нами, Эдипами, и предлагает нам свои загадки и тайны: злободневными темами и злободневнейший ответ злобы дня — есть наш ответ Сфинксу.

Наш ответ есть судьба.

15.

Человеку пора призадуматься над судьбой человека; и — европеец задумался; человеку пора апеллировать к смыслу жизни, который в нас вписан. Как бы в труп убитого, конкретного мира не вошел дух иного, недолжного мира, противного нашей совести?

Нужно твердо нащупать в нас человечество; например: не ангельство, не машинность; в настоящее время испуг пред машиною вызывает в иных обращение к религиозным истокам; но возвращение к Богу у многих носит машинный характер: многие защищаются Богом, противополагая его звериному лику природы, противополагая божественность самому человечеству; и обращение к Богу носит характер возвращения вспять.

Мы должны вернуться к истокам великого Гуманизма: Возрождение, традиции Возрождения его широкий, вполне гуманный размах — вот что нужно усвоить нам. Схоластиче-

ским прением с бездушной машиною и преданием всей культуры костру инквизиции мы ускорим лишь наш печальный конец; отдавая свободное, автономное лицо человека машине в исканиях нового «Ангельства», мы приблизим машину к себе; возвращение к средневековым суевериям обернет мир машин нам в бесовскую рать; возврат суеверий вернет навождения; и аппарат — будет нам: Господин Аппарат; Господин Аппарат будет новым Hircus Nocturnus'ом на шабашах человечества. В образах и подобиях механической жизни напечатлелые мраки средних веков; механическая культура тесно связана с темными сторонами схоластики; схоластика возродилась в методике, в методологии логики; но она пустила более глубокие корни. К схоластике проведения понятия по методической шкале присоединилась схоластика проведения нашей жизни по машинному ряду.

Средневековые вкусы новейшего модерниста — естественный дополнительный цвет к... механическому мировоззрению современности; от Рожера Бэкона — к Лойоле; и от Лойолы — к фабричной машине: вот путь нашей жизни. Соединение исповедальни Лойолы с фабричной конторой — сюрприз, ожидающий нас.

Кризисы материальной жизни — колебание ее идейно-конкретной подпочвы; идеология — результат конкретного творчества; идеология материальной культуры, разлитая в мире, — подлинная причина войны; а война, — выражение внутренно скрытой болезни, глодавшей вселенную: нечто в роде лихорадочной сыпи, проступившей из крови — на коже; тут втиранием мази ничем не поможешь; изменение крови — вот корень лечения; он — в перемене ритма пульсаций.

Наше сердце пульсирует метрами многогромных колес и метрами дребезжащих трамваев. Пусть же оно запульсирует метрами песен, пусть он осаждается бытом: анемия сознания перестанет изламывать жизнь; механика пресуществится в органику; в противлении человеческой совести механизму — трагедии сознавания; и в ней — кризис; внешние выраженья его — междуусобия, войны, болезни, убийства; и, наконец, — помешательство.

Механическое прекращение нас обставшего кризиса будет бесплодным втиранием мазей — лечением прокаженной кожи культуры вместо лечения заболевшего сердца.

Грохоты горизонтов сознания не прекратятся: они — это — мы; мировая война — alter ego.

16.

Вот сейчас я пишу, а «гром» — непрерывен: глухой говор поднимется; глухой говор потом упадет; а сегодня — многие говоры, перебегая друг в друге, сливаются в басовую, глухую и тяготящую дрожь:

— Уу-у-ууу...

Так гремело всю зиму, всю осень, все лето, всю весну, всю прошлую зиму, всю прошлую осень и валились прохожие между грудами черепичатых домиков; и валились из окон, из груды перин, и — уставляясь в закат... с выражением, точно из них выпирало сплошное, тупое, больное, «оно» — огромное, неживое какое-то.

Ты подвиг свой свершила прежде тела —
Безумная душа...
Под веяньем возвратных сновидений
Ты дремлешь; а о н о
Б е с с м ы с л е н н о г л я д и т, как утро встанет,
Без нужды ночь сменя;
Как в мрак ночной бесследно вечер канет, —
Венец пустого дня... —

— говорит Баратынский, — и вот «о н о», это тело, говором пушек утомленной души глядит «о н о»... в листики местной газетки, оповещающей мир о постановке нового фонаря между Дорнахом и Арлесгеймом; и — о битвах в Европе.

Глядя на жизнь, распростертую передо мной в тихих селах, мне кажется, что действительность рухнула, как дебелое тело швейцарца, в перины: рассыпалась в атомах; пляска атомов сонного тела не жизнь; это — казнь; это — месть за из'ятие мира из мысли; мир, из'ятый из мысли, ни — мир и ни мысль; он — не он, не она, а какое-то неживое «о н о», безучастно вперенное в нас и свершившее подвиг свой; такой взгляд — тихий взгляд помешательства.

Не странно-ли: до-военная суматоха напоминала сплошной «тихий час»; обыкновенные грохоты жизни как будто теряли свой голос: и настала она — тишина; иль вернее — «о н о», — то «о н о», что уже девятнадцатый месяц томит меня здесь, в Базельланде.

17.

Тишина русских ширей — прозрачная, ясная, внятная, окрыленная в грусти своей: тишина ожидания.

В моем тихом углу бесстремительно все, каменно тишина припадает: поникаете вы у себя на дому; поникаете в ожесточенно рыдающем ветре; поникаете в летнем безветрии; и все — точно валятся на дорогах меж прудами черепичатых домиков, друг другу подобных; валятся и молчат: тяжело говорят, тяжело глядят исподлобья; и — тяжело поступают.

Тишина Базельланда — «о н о»; про «о н о» поют петухи; и отбивает отчетливый колокол — все про то, про одно: про «о н о»; и «о н о» здесь во всех; и «о н о» здесь во всем; и все — в «нем».

По ночам «оно» почивает в перинах, не слушая, как тихо дзынкнет окошко, когда... громыхнет с горизонта.

Отяжелевший, бессмысленный, неосмысленный мир!

— И тяжелая мысль, потерявшая смысл!

18.

Ни одного события!

Все — мертво; все — спокойно; издали лишь военный оркестр вечерами наигрывает грациозные вечерние зори: прекратилась стремительность суетливых движений военных отрядов; изредка, загорелая кучка солдат пробушует на улицах деревушки; и —пропоется тут песня; разговоры о том, что, мол, выстрел — убитые жизни, — разговоров таких теперь нет (попривыкли мы к «говору» пушек); говорится — о керосине, об угле, о сахаре: подорожали продукты; подорожают еще: то ли будет!

— «Ру-рууу» громыхнет с горизонта.

Тянутся сонливые дни; и проходят бессонные ночи; никогда еще меч сомнения не рассекал наши души такою огромною болью; никогда еще разделение не секло нас этой секущей силою; кризис сознания пересекается с кризисом жизни; были же голоса, — от чего их не слушали.

Я в туманную ночь открываю окно; из туманной ночи вылетают снопы: световое пятно загорится на тучах; разбегается, угомониться не хочет; сигналы.

Затворяю окно: продолжаю писать.

19.

Связь вещей в моем «Я»; эта связь есть сознание; «знания» — члены связи — неизменяемы: изменяема комбинация их; она — в ритме; ритм знаний — сознание; в модуляциях протекает оно, оплодотворяя нам знания; в оплодотворениях творчески раскрывается наше «Я»; все понятия знаний рассудочны; вне их вяжущейся связи они рубят действительность на бессвязно-текущие части; в переложениях и сочетаниях, во взаимном их контрапункте — в сознании — окрыляется разум; в сознании — цельность «Я»; оно — знание собственно; оно — родит свои формы; в оформлении, в «ставшем» нет жизни; в становлении строится ставшее; в ритме строится форма; в сознании — знания; сознание — центр текущего организма вселенной; вне его организм этот — труп.

Из зерна бежит стебель; из стебля наливается колос, а в колосе — зерна; и —так далее, далее; прежде и после— отсутствуют; отношение сознания к миру и мира к сознанию — отношения колоса и зерна; их раздельность — абстракция; мысли мира и мыслимый мир суть единство в сознании; задрожи оно — рухнет мир.

С нами кризис сознания; и — стало быть: кризис мира; земля — в знаменьях: стало быть: будут знаменья в небе; твердь земли и небес — она дрогнула в нас; сознание наше мутится: диссоциация материи налицо; о ней кричит физика и — диссоциацию духа являют нам наши вкусы — в искусстве и в жизни; футуризмы, кубизмы нам убивают искусства; вырождение, кретинизм убивают нам нашу жизнь.

И пора нам спросить со всею ответственной строгостью: что есть знание? Чем должно оно быть? И — каково оно в «знаниях»?

20.

Знание — брак «Я» и мира; «и познал жену»... говорится нам в Библии; знание в слиянии с узнаваемым.

Знание цветка обнимает знание его функций, тычинок, и имя, произнесенное на звучной латыни; кроме того: предполагает умение переживать себя в нем; полевую лилию знать — значит стать: полевою лилиею в поле; видеть солнце, как лилия; узнать лилию в спиртовом препарате, это значит — притти к убеждению, что она — пахнет спиртом.

Всякое абстрактное знание нас ведет к суррогату: к ли-

лии... на бумаге, к рисунку и к схеме; такой лилии — нет; ее надо доказывать.

Доказательства Божьяго бытия — суррогат жизни в Боге; умер Бог в сердце нашем: и мы начинаем — вести разговоры о Боге.

Пусть на полюсе пальма — мечта: она есть в жарких странах; полюс ведает лед; для него все иное — фантазии; но вера в фантазию, в пальму, покоится на возможности наблюдения пальмы в Египте; отношения знаний и вер — отношения египтян к эскимосам; на экваторе снег мифичен; грозовая туча — миф полюса, предмет знаний и вер переменчив; география сознания нашего — она неизменна.

И абстрактна граница меж верой и знанием; невозможны без опыта ни та, ни другое; вера в знании — есть; и есть знание веры: дела веры в опытах; мертва вера без дел, мертво знание без опыта.

Принцип нужен для опыта; вне его он — абстрактен; знание без веры абстрактно; и вера без знания — сказка.

Рассудочно рассечение жизни абстракцией принципа; действительность раскрошена ею во формах; материализм есть абстрактное крошево трупа мира на мельчайшие части; спиритуализм вылагает принцип из жизни: и уплотняет его — в неподвижностях догмата; и — каркас духа — догмат — без плоти и духа: таковой каркас — пуст; догматический спиритуализм — вытравление плода жизни из жизни; материализм убивание самой жизни; разделенные вера и знание, нам грозят оскоплением и разложением жизни; разделенные, вера и знание нам гласят, что духовное знание невозможно: непостижен де дух, бездуховно де знание; и, молясь неизвестности, мы живем в мертвечине; остаются нам знания неверны; остаются нам веры незнаемы.

Мы хотим умных вер, волим верное знание.

21.

Доказуемость бытия — стала нам бытием.

Бытие распластано перед нами многообразием научных провинций и континентами методов: бытие стало логикой; и мы пригнаны к полюсу, где торжественно мы стоим, облеченные в ледяной футляр логической формы. Человек шел и... стал:

человеком в футляре: зажил он в отложениях: в формах, в футлярах, в каркасах; все нас — твердые, материальные льды: в нас же — мертвые формальные догматы; так мы зажили — в трупах трупы: сколько прожили так мы, не знаю; но мы сдвинулись с места, мы двинулись... к пушкам: коросты оказались на нас разбиваемыми только пушкой; но с коростом отбиваема наша жизнь; коросты мы сдираем с души вместе с костями и мускулами; разорвалось сознание наше: разрываются вместе с ним наши души, тела; распадается вместе с нами, стареет, планета; передвинулись зимы, осени, весны; и — тусклы закаты; землетрясение бежит под землей на своих гремящих толчках; аритмии чугунного грохота раскатались от моря до моря.

Вот что сделали паразиты — абстракции — в мирах жизни нашей; благополучно мы сидели в уютных квадратах и — квадратами думали, созерцая кубы домов угасающим зрением крыловской мартышки и обложившись десятком очков, в которые мы воистину не смотрели и которые... нюхали...

22.

Полное знанье в слиянии мира и мысли, т. е. в связи предметов и знаний: в с о з н а н и и н а ш е м; перестали мы мыслить миром; и мир перестал нами мыслить; многообразие диалектических сочетаний, все творчество мысли — бессильно распалось на мертвые методы и фанатически заострилося в догматах; легконогая диалектика, танец догматов, обернулась в мозгу у нас суетливо-мышиной грызнею: переживанием неврастеника; так червивыми ходами источили нам мозг мысли наши.

Между тем, диалектика есть произрастание из зерна ветром зыблемых колосьев из мысли и созревание в колосе новых зерен — творимых действительностей; иссякновения смысла жизни в ней нет; в ней кипение, превращение, наростание, размножение, творчества: в смысле смыслов; смысл — многоветвистое дерево; но абстракция его — палка; да, мы древо познания обернули рассудочной, принципиальною палкою; гармонический шелест кроны замолк; раздавались и падали вокруг нас — палочные удары тенденций; и гармония сфер разрешалась надолго для нас в барабанные трески пустейшей словесности.

Что такое рука? Это знает лишь тот, кто владеет рукою; знает он, что рука — его орган душевного выражения; и вовсе она не «конечность», как гласят анатомии; изучение сокращения мускула с очень громким латинским названьем к знанию руки не приводит; изучение это совершается главным образом лишь на трупе; труп руки — не рука; — рука — в жестах, а в трупе нет жеста; в нем есть содрогание, производимое при помощи электричества; анатомия и физиология рук в лучшем случае научает нас механической дрожи; и действительность этого знания — кинематограф; знание руки — жест Айседоры Дункан; и мне этого жеста не даст изучение трупа; я его увижу в движении пальца Крестителя у Леонардо-да-Винчи; Леонардо-да-Винчи и Дункан — они руку знали; естествоиспытатели рук не знают: они знают... — «конечности», принадлежащие не человеку, а той же юрьловской мартышке; по образу ее мы построили нашу жизнь.

Слишком много есть трупного в нашем знании жизни; красота передернулась в ней потрясающим... «мартышкинским» выражением, напоминающим... агонию и судорогу под вивесекционным скальпелем метода; хирургические ножи — обагрили нам жизнь. Методы хороши у стола оператора, но не в жизни; ни даже... в брани; помните, у Толстого: «Die erste Kolonne marschiert, die zweite Kolonne marschiert». Методика, догматизм нам присущи скорей: мы больны методизмом и да, мы абстрактны; оттого то духовные блага, живущие в нас, в нас порою иссушены нами же; отвлеченность наш враг; вера в методику — наше хамство пред немцами; ведь и метод живет в модуляциях метода; если метод повесить на стенку, он — мертв; вера в метод нас давит; наоборот: модуляция методов, принципов, догматов — разбивает на методе методический корост; такой метод есть ритм, есть пульсация живой жизни; самый метод есть тень ритма жизни; мы по тени должны отгадать ее подлинный лик; мы же тянемся к тени, а всякая тень — опрокинута; и проклятие нашего представленья об истинах знаний — есть жизнь в опрокинутых истинах, в истинах вверх ногами»; Истина вверх ногами» гласит, что она де—абстракция; участь наша есть участь Пилата: теоретически истину вопрошать, что есть истина; Истина не отвечала Пилату: истины не призваны

отвечать на вопросы об истине; истины предстают, чтобы их видели; за истиной следуют без вопросов.

24.

Жизнь течет в быстрых жестах; молниеносны вопросы; молниеносны ответы; знание цельное — жестикуляция и ритмический дар; знание — импровизация среди случайностей жизни; дар — в единстве сознания, в верной связи конгломератов узнаний; эти узнания — ноты; умение слагать песни из нот — в этом корень сознания.

Методически можно, конечно, исчислить и грацию эстрадного танца в механических формулах; исчисление будет длиться года; можно мгновенно дать грацию в танце; цельное знание есть мгновенный подарок; в нем ответы на мимику восстающих вопросов; теоретический ответ отстает; или он пустая абстракция ограниченного «принциписта»; принципиальных и полных ответов на кризис сознания ждать нам некогда (мы прождем их столетия); и остается ответить мимикой и ритмами действий — по дару.

События жизни взывают к мгновенным ответам, не к отвлеченному знанию, а к сознанию нашему; в умении разговаривать с фактом — оно; и оно в умении называть имя факта; нет его в арсеналах знаний в ковычках, в дровяном складе догматов, в археологическом музее культур, где собраны части когда-то конкретной действительности; ныне бревнами «принципов» не разрушить темницу сознания нашего; ныне «принципы» — ритмы духа: и он дышет, где хочет — к огорчению методолога; методология — пораженный миной дредноут; переборки его закроют пробоины; некогда нам «принципиально» трудиться: опускать переборки и обстругивать догматы. Нам события обнаружили ясно: мы жили на полюсе, где забыли мы грозы; громовые удары на полюсе — мифы.

Нет, единственный выход сознанию нашему: принять правду грозы; сбросить веру без знания; искать веры своей, познаваемой точно; искать верного знания. А пока мы будем седлать отжитые веры и догматы, мы останемся с арсеналами непререкаемых теоретических положений без... твердого положения в мире; так способны мы выехать, точно дети на палочке, из тропической разрешающей атмосферу

грозы; так способны вторично мы выехать в пространстве полярных абстракций, чтобы там с самоедами утвердить былой догмат: Бог, гроза и цветок — только миф египтянина.

Помним: догмат — дредноут; действительность — подводная лодка; мина — факт: незабываемый факт.

Ах, побольше бы мимики, ритма, жизни, свободы движений и мысли, конкретности, правды: меньше, меньше очков; что в них проку? ведь мы их не носим... почтительно нюхаем, уподобляясь крыловской мартышке; мы глядим на очки, не сквозь них; так не видим мы фактов в многообразии фактов и в неожиданном опыте — кризис сознания наступает; бьют часы... время — действий.

25.

Помню, как оживленно здесь обсуждались телеграммы, как спорили: раздавались задорные голоса, взрывы смеха в разгар шумных споров; спорили добродушно: в войну нам не верилось.

И вот она грянула.

Это было под-вечер: закат был багряный; пророзовели верхушки Эльзаса (кто мог думать тогда, что оттуда покатятся к нам гремящие звуки?); помню — весть: мировая война разразилась; руки стареньких поселянок протягивались к чуть белеющей гряде гор, подымающейся за Рейном, из Бадена; там оттуда-де — пушки: все в пушках!

Прошло десять месяцев: все водворилось на место; еще изредка трещал барабан; сытые, ленивые головы повылезали, как прежде, из окон; и — из-за груды перин, переговариваясь с такими же, как они, головами, глядящими из окошек; а — «громыхало» все громче, все громче, с белесоватых холмов — там за Рейном! — из Бадена, где все пушки: глядели, казалось, на нас.

Пели мирные петухи; колокола звонили к полуночи; с десяти часов вечера — ни души, ни огня!

Не думаю, что провидят односелькане всю космическую сверх-разморность войны; даже... кризис сознания, не переплетаемый вовсе ни в белую, ни в оранжевую, ни в голубую, ни в красную книгу: переплетчику войны не отдашь; семи красками спектра ее не окрасишь; не раз'яснишь ее ни поры-

вами благороднейших, или даже негоднейших чувств; в классовое сознание тоже не втиснешь.

Даже базельцы не поверили: ни одному переплету войны; предпочитают ее не понять, чем понять однобоко; в этом есть своя правда; в этой правде своей они ходят давно; и — молчат, посасывая короткие трубочки.

Все увидели мы, что из бури свинцового грохота не рука человека грозится руке человека; и — поднимает тот грохот.

26.

Но ко всему привыкаешь..

И мы совершаем поездки — из под базельской деревушки: послушать Бетховена; но и над Базелем она — гремящая тишина.

Она — вошла в восприятие... ну, как пение комаров, визги ласточек, визг далеких трамваев, или — шум водопадика; и умолк он, тут то вы и заметите, что он — был; и когда гремящая тишина неожиданно станет безгромной, то обитатели Дорнаха говорят:

— «Слушайте: перестали стрелять!»

Вот закаты здесь хороши: лиловобагряные тучи несутся — клочкастые, быстрые: по бледно-зеленому небу; и оно — все горит: рдеет кровью, может быть пролитою вот только что, — в пятнадцати километрах от нас; в этой гаснущей рьяности — блистательный треугольник из двух немигающих звезд и юно — хрупкой полоски серпа полумесяца; огромные две звезды соединялись так близко; Юпитер с Венерой — с любовью мудрость, и над Эльзасом стоит: соединение в небе; но на земле — разделение.

Мертвая данность распалась; и уж земля — не земля: распадается наша земля; человечество отравилось субстанцией кометных хвостов; головные абстракции привлекают на головы наши комету.

27.

Тихими вечерами блуждаю по мирным долинам и вспоминаю: далеких знакомых; помнится один вечер — с той поры прошел скоро год; на стекляпеющем небе поднялся какой то предмет; и, розовея, повис в неподвижности; я на него засмотрелся; он же — стал розовым облачком; нежное, оно вскоре истаяло: а предмета уж не было; но рассказали газеты, чем был тот «предмет»; там шел бой — столкновение цеппелина с аэропланами, кажется; кажется, там кого то кто

то расшиб (мы не слышали выстрелов); но я видел: на стеклянеющем розовом небе поднялся предмет; и стал после — облачком; облачко порастаяло; а куда девался предмет?

Это было уже — скоро год; но все так же «г р е м и т» с горизонта.

Из-за перины «о н о», сонливо глядящее тело, с острия всей культуры — все так же, все то же — уткнулось в окошке глазами в газетку; и — вероятно читает: о починке поставленных фонарей меж двумя деревушками.

28.

Слушаю глухой говор орудий с эльзасской границы; и почему то мне кажется: глухой говор знаком. В глубине деревенских полей подымался он некогда; перепелиные крики стояли: из-за ржи, в васильках, — кто-то все под'езжал; явственно громыхала телега — далеко, бессменно: по вечерам на заре. Бородатый лесничий, мой друг, на приступочке белого домика исподлобья, бывало, посмотрит; и — спросит, бывало:

— «Ведь... едет?.. Ведь... едет же?»

Перепелиные крики стояли; и — е х а л о, не доезжая, — там, из-за ржи: в васильках; гремела — телега ли, пушка ли? Это было под Луцком, в 1911-ом году.

П о д'е х а л о: кажется, белый домик разрушен уже — орудийным говором.

Глухой говор гремел над ночною Москвой — тому назад десять лет, над апельсинником италийской долины; и — в ковылях русской степи; я ждал, что он грянет.

Он — грянул уже.

Дни — текут... Времена накопляются... Приближаются поступи сроков... и — исполняются сроки...

Но разве не помните вы? Про 913-ый год говорилось так много в крестьянстве: на год просчитало крестьянство; слышало и оно — глухой говор событий, как его расслышал поэт:

Опять над полем Куликовым
Взошла и расточилась мгла,
И словно облаком суровым
Грядущий день заволокла.
За тишиною непробудной,

За разливающейся мглой, —
Не слышно грома битвы чудной,
Не видно молньи боевой.
Но узнаю тебя, начало
Суровых и мятежных дней...

А. Блок.

Не над Россией гремело: гремело в Европе, гремело над миром; гремит и доселе — за громами пушек: грядущие громы...

Слушаю глухой говор орудий с эльзасской границы; не удивляюсь ему; уезжаю в Базель гулять и подолгу стою над зелеными струями Рейна: над струями — чайки.

Каждый знает минуты невнятицы: я люблю подслушивать глухонемую невнятицу — полудрем, полумыслей: надо и их выговаривать членораздельно и внятно.

Парки бабье лепетанье,
Жизни мышья беготня...
Я понять тебя хочу —
Темный твой язык учу.

Пушкин.

29.

Удаленье от точного смысла в детали из предварительных изысканий построило нам лабиринты, в которых запутались мы; средства стали нам целью, когда эти средства мы сделали средствами техники; и при помощи техники строили храм из машин; появились философы, обосновавшие эту подмену; машина нам стала воистину: «об'ясненьем в себе»; цель ее — в средствах; и средства в ней — цели; хитрое понятие «целе-причинности» изготовил нам Вундт; это ловкое идейное шулерство в свое время подобострастно глотали мы; и старались свой мозг приспособить к «целепричинной» действительности; «целепричинная» жизнь привела нас к борьбе: разве нынешняя немецкая поговорка «Not hat kein Gebot» не оправдана «Метафизикой» Вундта и философией «Als ob» Файгингера.

Мы зажили — «прагматически»: приложили понятие цели к бесцельно бурлящему чреву.

Парализовано внимание к чистой мысли; и оттого пе-

репуталось все; цель со средствами смешаны; в целях средства оправданы; в средствах цели даны.

Удаление мысли от целей познания переживалось сперва романтически, взрывами энтузиазма и праздниками освобождения якобы «мысли»; в этих праздниках превращения познавательных средств в цель науки протек весь XVII век; и — протек XVIII век.

Дифференциальное исчисление оказалось приложенным... к пушке: Лейбниц, Ньютон, Декарт поступили на службу к «солидному» Круппу; сорока-восьмифунтовое орудие прокричало ученым:

— «Виват»!

И во славу науки оно принялось вдруг выкидывать «чемоданы» над башнями храмов.

30.

Органический смысл моего бытия в том, что «Я» — неизменен и вечен: sub specie aeternitatis живу; этим «species» были вначале пронизаны действия.

Теперь species» в биологии есть — отбор: отбор особей; он мечя аннулирует; «я» есмь «я» лишь постольку, поскольку я исполняю свои детородные функции.

«Species» смысла нам дан социологией; понятия общественных механизмов меня аннулируют; смыслы «я» в содействии механической суммы из «я», шествующей до ближайшей канавы, — дойти до канавы (биологически смерть есть канава); мы живем для того, чтоб пробег до канавы «детей» совершился бы комфортабельней; но пробеги тысячей поколений до ближней канавы (до смерти) свершался уже: все попали в канаву; все сгнили в канаве; дорога — утоптана; что же?

В итоге пробегов — дорога в колдобинах: все миазмы болезней, всю грязь нищеты и разврата теперь заливают колдобины; колдобины превратились в траншеи; в траншеях устроились — жить: обзавелись фортепьяно, литературой, вином; может быть, человечество, не желая бежать до канавы, устраивает себе канаву искусственно; и мы у преддверия новой жизни — «канавной» (траншея — канава)?

Посмотрим.

Колдобины превратились в траншеи; на ребрах поставили пушки; сидят и стреляют сорокавосьмидюймовыми чемоданами,

отправляясь от Лейбница и Декарта, рекомендованных Круппу почтеннейшим Вундтом.

Дорога испорчена: мировая канава — конечная цель! — есть Ничто.

Достаточно быть знакомым с историей, чтобы раз навсегда отказаться от смысла, коль смысл нашей жизни — канава; и во вторых: наш пробег до канавы не улучшает дорогу, но — портит дорогу.

31.

И философия лени невольно встает: мы философы лени — «канавные» жители! — разглагольствуем с правом теперь: —

— Не побоимся лениться! «Служенье муз не терпит суеты!» Дел, настоящих дел, у нас нет: быть не может; все дела — золотой фонд богатств — подменили бумажками мы «патриотических» военных займов; богатства страны обернули мы в залежи динамита и мелинита; а их выпускаем мы в воздух, веруя в основной закон физики: в круговращенье энергий; и позабыв, что закон этот в мире Гельмгольца и Томсона ограничивается законом рассеянья и ростом таинственной «энтропии», грозящей нас всех навсегда обанкротить; мы развеяли силы, богатства и жизни два года в космические пространства вселенной, в наивности полагая, что из пространства осядут на нас «великие и богатые милости» в виде яств, утучненных тельцов и согревающих тканей.

32.

Если мы будем дальше так жить, вижу явственно я: лень, апатия, мертвенность — предстоящая нам девальвация; ибо темп — темп войны — нас обрек на безделье в грядущем. Тепловую энергию жизни, жар жизни, ухлопали мы почтеннейшими хлопушками в виде сорокавосьмидюймовых орудий.

Все дела «обезделились», обессмыслились; превратились в обычную, деловую, сериезную суету; суету возвели мы в квадрат; суета сует —жизнь Европы; по отношению к ней не мешает нам погрузиться теперь в философию «Экклезиаста»:

— «Суета сует,—сказал Экклезиаст,—суета сует, — все суета! Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Род проходит, и род приходит, а земля пребывает во веки. Восходит солнце,

и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается на круга свои... Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, — и нет ничего нового под солнцем»[1]).

Лишь когда мы ленивы, порой заживают в нас истинно бескорыстные мысли; все прочее — утилитарно; медитация в условиях нашей суетной жизни приходит свежительпей через лень.

Медитация — лень, возведенная в принцип; царство лени, — корабль, отплывающий в страны кипений бесцельности; будемте тише, ленивей и вспомним пословицу: «Тише едешь, дальше будешь».

Суета сует, выростающая из «деловой», «трезвой» жизни есть мысль, что — «я», такой, каким несу себя через жизнь — не мертвец, что еще не все погибло, не все пути мне отрезаны к возрождению.

Оставимте компромиссы религий и мистик; они наши тати; от них содрогаюсь надеждою «я»; но содрогаюсь надеждой не «я» — труп во мне; мои черви во мне копошатся (то — нервы мои) и кричат:

«Живы мы! Еще есть нам спасение!»

Я — погиб безвозвратно; погибли мы все; и не будемте гальванизировать наши трупы; моя кожа давно мною сброшена (вместе с природой, откуда я выпал); мои обнаженные нервы — суть черви, давно источившие тушу мою; мое мясо, пронзенное нервами, напоминает одежду, покрытую паразитами: мои нервы кусаются; жизнь их — адская боль для меня.

Изящен во мне лишь скелет; в нем — «бессмертие» смерти; через бессмертие смерти душевной пути нас ведут к возрождению духа.

33.

Ужасны глаза мои; голубые они — от разложившейся крови, фосфорический блеск их — продукт разложения; одушевление разлагает меня; мои блески в глазах — просто гниль! А движенье зрачков — только черненькие головки двух трупных

[1]) Экклезиаст: I 2—6, 9.

червей — долей мозга — заползших в глазницы; когда нибудь эти черви сожрут содержимое темных глазниц; темнолонные впадины черепа обнаружатся явственно.

Мы — дети Каина: наши пути ведут к гибели; да, кто-нибудь из погибнувших и воскреснет, быть может; строить мысли о том, что воскресну «я» именно, — значит длить агонию: (тридневен есмь: и — смердит); не хочу агонией питать в себе стаю червивую «нервов»; «темперамент» мой их питает; не убиваемы черви во мне; погибают они лишь от голоду; уморить бы мне их моей смертью!

Меньше трепета, одушевленья, надежд, блеска глаз и градаций «интимнейших» жестов: побольше суровости; «интимности» — показная личина червя; подлинный interieur есть скелет.

Я есмь труп. Никаких утешений не надо: утешением будет мне мысль: утешения нет — безутешен. Пока тело, сгноенное мною на мне, еще носится мною, утешение мне — безутешность моя.

Бескорыстие высекается лишь могилою.

Я — погиб безвозвратно.

Вот — единственная философия, нам способная указать пути выхода из тупика. Нашей жизни, — «канавы» «в которую мы залезли, которую рыли» себе столько лет, вопреки голосам, предупреждающим нас о близости катастрофы; лучше во-время нам черпать силы в суровости, чем воскликнуть, как Иов:

— «Погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано: зачался человек. День тот да будет тьмою... Да омрачит его тьма и тень смертная, да обложит его туча, да страшатся его, как палящего зноя... Для чего не умер я, выходя из утробы...? Зачем приняли меня колена? Зачем было мне сосать сосцы?... Вздохи мои предупреждают хлеб мой, и стоны мои льются, как вода, ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня; и чего я боялся, то и пришло ко мне»[1])

34.

В Базеле созревала мысль Ницше. Его любил Беклин. Здесь профессорствовал много лет достойнейший Яков Буркхардт; и жил некогда математик Бернулли — действовали и Эразм, и Гольбейн; дом Эразма сереет доселе: средь безлюд-

[1]) Книга Иова. Гл. III.

нейшей улицы; временами живали поблизости: Грюневальд и Неттесгеймский Агриппа.

Таково созвездие ярких, славных имен, восходивших над Базелем; оно связано с возрождением и эпохою великого Гуманизма; в это славное прошлое подымается тихий Базель розоватыми и серошершавыми башнями; и серые замки торчат здесь осколками; они сидят на Юре, на лесистых отрогах Шварцвальда, на гребнях Эльзаса.

Многие битвы шумели над Базелем; первое поражение рыцарей швейцарскими мужиками произошло здесь поблизости; ныне над грудою черепов подымает крест свой часовня.

Сходятся здесь и Шварцвальд, и Юра, и Эльзас; сам же Базель в долине; холмики избороздили ее; с холмиков поднимается он; грудами черепичатых домиков, серо-розовым Мюнстером и ярко-красною Ратушей привстает он над Рейном; веснами лиловеют в гирлянде гладиний его серобокие домики; магнолия зацветает в садах; осенями и зимами он дымится в туманах; по нем бегают глянцы неизливных дождей; всюду обилие очень старых, каменных, крашеных, полноводных бассейнов, поднимают статуи столбики — золотого рыцаря, гражданина в заломленной шляпе, прелатика, или просто дракончика, изрыгающего струйку чистой воды.

Улички здесь горбаты и кривы; тусклые фонари на стенах; и малоглазые домики нависают — полосато пестрыми выступами: бедно одетые кучечки соберутся под выступом; неподвижно медлительны люди; они сосут трубки; и — провожают вас взглядами; из окошка порой вы увидите — колпак старика; и он — жует трубку; выпирает из шеи его (очень часто зобатой) густой, белый войлок: непременно покажется вам, что оконная рама есть рама портретов Гольбейна, которых вы видели в великолепной ли базельской галлерее, в книгохранилище ли, где работать отрадно; на старике был берет; и рисовался на фоне он из голубоватых и бледнозеленых материй.

Этого старика вы увидите: в котелке, в кососкроенном пиджаке, с дымнокудрой сигарой в руке в более молодых частях Базеля; он покажется жалок там.

35.

Неприязненно отбегает новый Базель от Рейна: грудами невысоких, торговых домов и кубами возводимых построек;

хорохорятся суетливой гримасой немецкой провинции его банки, таверны и лавки с характерными надписями в роде «Тысяча брюк». Раздувается в огромный вокзал; и желтеет от скуки.

Этот Базель напоминает мне толстого буржуа, буржуа собираются в «Казино»; поднимают там горластые дымогары; и тупо тычат в шары биллиардными киями; а улицы — суетятся; людоход непрерывен; в говоре голосов временами прорежется — глухой говор орудий с эльзасской границы.

Если бы вдруг в толпе перепутать носы, глаза, спины, руки и далее — самые цвета тканей в безотраднонелепые сочетания, то получилась бы точная копия базельской уличной жизни, где все платья повисли, подбородки враждуют с усами, а ритмы рук — с ритмом ног.

Точно сотрясся телесный состав человека; и оставшийся кавардак — базельский буржуа. В нем типично швейцарское стерто; оно не стало немецким; базелец стоит одиноко; он — мозаика, выцветающая от времени; и потому однотонная.

Однотонность бесстрицы — канва впечатлений; вненациональное не достигло размаха городских, больших центров; а местное — стерто; острокрылатого слова нет; и скрипучая пересыпь слов, очень громких, гортанных, будто тренье кремней друг о друга, перетирает в кафэ все газетные сведения.

Базелец не доверяет газетам и ходит в концерты на громозвучных певцов — басов, теноров, баритонов и «д е р и т о н о в»; любит он оркестр барабанщиков.

Оркестр барабанщиков — украшение Базеля.

Проживя здесь так долго, дошел до того я однажды, что принял участье в оркестре любителей: и — играл на втором барабане.

36.

Слово базельца напоминает скрипенье кремня, а не порхание бабочек: бабочка стрясает пыльцу; из кремня летят искры: искрами горячего гуманизма и огромной волей к добру загорелся он в дни войны; странное сочетание: он из примитивнейших предрассудков и очень тонкого такта.

В базельце подчеркнулася не простая обязанность быть корректным со всеми, а активная воля быть подлинно человеком; развитие социального такта сказалось в проявленной

мягкости — ну хотя бы ко мне. Я тем более ценю этот такт, что население по интересам и связям естественно тяготеет к Германии.

Базельский обыватель — наполовину в Германии; в нескольких километрах лишь Баден; и на несколько километров подальше — Эльзас; население у границы смешалось, и близость к Германии напечаталась на мелочах здешней жизни: вы здесь встретите и пивную из Мюнхена, и германскую лавочку, и чиновника в характерной прусской фуражке.

В Бадене — немецкая таможня.

Я на-днях постоял в десяти шагах от Германии. Я смотрел на открытую жизнь по ту сторону немецкой границы.

Крутобокие горы пушились набухшими почками; одуванчики зацветали; и оснежались долины цветущими вишнями; переговаривались желтосерые ландштурмисты; и поглядывали на нас, держа ружья под мышками; по Германии бежал поездок; и тихая вилла глядела с холма...

С нетерпением под'езжал я к границе; из-за цветов и кустов побежали на «трам» миловидные, весенние виллочки; и уже вот он, вот: набегающий Базель — с кубами серожелтых торговых домов и с гортанно-вещающим людо-ходом; Рейн и серые башенки показались и скрылись; вот прополз зарейнский рабочий квартал; показались немецкие лица; показалось обилие неизбежных пивных: зарейнская часть стремительно переходит в границу.

Вот — построенный на швейцарской земле баденский, немецкий вокзал: широчайшее помещение в тяжеловесных колоннах и глотавшее поезда, и плевавшее поездами; оборвался ток товаров; с войною артерия эта перерезана здесь; запертой вокзал пуст; на огромном перроне — никчемная кучка: характерные прусские картузы с высоко приподнятым краем.

Кончился Базель: поле...

Прожелтилось, проголубело цветами оно; солнцем и травами засмеялась долина и уткнулася прямо в горы; это горы — Шварцвальда.

Вот — белая деревушка, вот — церковь: отчетливы; перебежать бы луг да на холмик! Нельзя это — Баден; перебежишь — и не вернешься обратно: ты — пленник.

Остановился «трам»: мы — выходим.

37.

В этой окраине все швейцарское смыто; домики, воздух, парки, улыбки, — иное все: мелькают эльзасски с огромными, черными бантами; те зарейнские горы — Эльзас; эти — горы Шварцвальда; Юра — отступает; небольшая долина отделяет границу от пригорода; между тем, серолиловые, стильные здания старых эльзасских домов кричат иным бытом, иною, более широкой культурою — несомненным вкусом.

Вот — уличка перерезалась на-двое: точно там на мгновение опустился шлаг-баум — на мгновение перервать людоход; и потом — приподняться; но деревянная загородка строга.

То — граница.

Здесь швейцарский поселочек, Риэн; там — баденский Лорах, где производят осмотр притекающим из Швейцарии ландштурмистам; два швейцарских солдата строжайше блистают штыками (они — из романской Швейцарии); на итальянской границе — дежурят солдаты немецкой Швейцарии.

Вот какая-то кучка, покинувши деревянный немецкий барак (где производят осмотр), хлопотливо бежит через уличку; и военный, выйдя из будки, которая рядом с нами, уже проверяет бумаги; другой — смотрит на нас; спутник мой к нему обращается:

— «Странно ведь: перейти вот ведь уличку; и — попались...»

— «?»

— «Мы — русские.»

Улыбается черноусый солдат; и — говорит по французски, кивая на ландштурмистов.

— «Они — голодают.»

Мы поглядываем на кучечку немецких солдат; те — на нас; это — преклонного возраста люди в серожелтых мундирах; у одного — серебряная голова; он согбенный годами.

И — отчего то неловко: отходим мы прочь.

38.

День лазурен, прохладен: на веранде тихого пансиона сидим и пьем кофе; спутник мой, доктор гейдельбергского университета (он — русский) вспоминает годы студенчества: —

— Умер вот Вандельбанд; Риккерт — профессорствует теперь в Гейдельберге; убит Ласк на войне; у Гуссерля убит сын... —

— Под ногами, внизу, за холмом, саженях в тридцати от нас, на лужайке треплется маленький, почти игрушечный флаг; то — граница; вечером замечтаешься, голову кверху поднимешь (неосыпное небо дрожит: переливается звездами!); и — мечтатель, в Германии ты; тебя подстрелят наверное... Сторожевые немецкие будки явственны там на склоне горы. Тихо реет военный баллон в нежном воздухе над Эльзасом; и какая-то дама на него поднимает лорнетик.

В память врезалась мне эта тихая, мирная местность: крутобокие горы пушились набухшими почками; и оснежались долины шапками зацветающих вишен; по Германии бежал поездок (миниатюрный какой-то); ландштурмисты миролюбиво поглядывали; и — высилась тихая вилла с полного холмика Бадена.

Через несколько дней я узнал: кровавое происшествие было здесь; не говорили о нем; прошло оно неизвестно: русские пленные, убежав, переходили границу; трое были убиты; четвертый — попался. Говорят, эта тихая местность кишит шпионажем; и, попадая в глухую деревню, вы видите: подозрительный взгляд у окна, провожающий вас.

Грозовая туча войны здесь повсюду в'едается в воздух.

39.

Порою мне кажется: запахнувшись в свой плащ, на глаза принадвинувши шляпу, кто-то сядет на «трам» у немецкой границы; прикрывая впадины черепа, будет бегать по Базелю; и затреплет детей костяною рукою своею; или — сядет в таверне, — «инкогнито»: над газетным листом хохотать разорвавшейся челюстью.

Так мне кажется.

Есть в базельской галлерее гравюры Гольбейна; серия их называется: «Danse macabre; жизнь королей, поселян, духовенства проходит в ней; но скелет сопутствует этой жизни; он так лукаво вплетается и — плутовато подмигивает...

Я гуляю по кривеньким улицам; и безотчетно мне кажется: там, у серого бока домишки, из-за лиловых глициний — просунется череп; и плутовато оскалится на усталую кучку людей, собирающихся у бассейна, где свои богомольные руки слагает прелатик... на каменном столбике.

По горбатеньким уличкам бегают осенями туманы; и мокрые глянцы; и рыжими пятнами тускловатые фонари осве-

щают дома; под фонарем, запахнувшись в свой плащ, плутоватое инкогнито, смерть, приподымает там шляпу.

40.

«Бездники» — русские, мы: уплощены люди запада; тело запада, роковое — «оно», почиющее в гробе: с легких слов Достоевского, почти с легкомысленных слов: — из драгоценной гробницы соборов, как желтая мумия, по убеждению нашему, в утро сознания нашего Запад вперялся, — вернее, в зеленораззеленое петербургское утро, в котором мы спали: сознание петербуржца цветет ведь в полуночи.

Но как знать: может быть слушало и «оно», тело Запада, как с горизонтов сознания медленно уплотнялась гроза, громыхающая у меня за окошком уже девятнадцатый месяц — без передышки, без умолку?

Непрерывно гремит кончик фронта; непрерывно гремит за ним фронт; непрерывно гремят все четыреста километров, быть может.

Мне отчетливо ведомо, что все новые сотни тысяч людей, точно рожь в молотилки, ввергаются в ту же полосу: отгреметь у орудий; и, отгремев, может быть, опочить; от машины — к машинам — идут себе люди; в гремящую полосу (здесь на фабриках много есть иностранцев); гремящая полоса — острие всей культуры; вырвалась из руки человека — машина: сроились машины; и — бьют человека: существа непонятных, уродливых, многовиднейших форм — существа грозных демонов! — нашли себе тело: в железе и стали. И обстали дома: безобразными грудами.

41.

Это все приходит на ум при посещении иных из курортов Швейцарии, ныне пустующих.

Они — мертвые города.

Многорядица друг на друге сидящих, друг друга давящих отелей — ужасна; и ужасен отель, взятый порознь; бестолковый, огромный, чудовищный, каменный куб: городская жизнь — безобразный кубизм; да, мы все — провалились в кубизм; направление в живописи не при чем: направление нашей собственной, мертвой жизни оно отражает удачно.

В брошенных городах раздается ужасно: кубизм нашей жизни, снаружи прикрытый цветами, как вот этот чудовищный куб («Palace» иль «Splendide» — все равно), перед которым для вида разбили пестрейшую клумбу и глупо воткнули две пыльные пальмы, чтобы они веселили взор пестрой жизнью растительности; все равно: безобразный куб разве спрячешь? Из него через две пыльные пальмы на вас прет оторопь «н е п о к о й н о г о д о м а», пустого, где еще резонируют стены — разговорами, думами и поступками обитавших здесь фатов и модниц пяти частей света; слов не слышите вы; и поступков не видите; но внимаете жестам жизни, здесь бывшим недавно, еще до войны; события — пролетели; а жесты — остались; они ютятся в обоях, в коврах; в плюше кресел; и поднимаются пылью теперь; и покрывают столбами вас этой (глазу невидной, душе же отчетливой) пыли: и пыль — ужасает.

Непосредственное впечатление предметов носит долго печать обладателей; а впечатление домов сохраняет печать обитателей; обитатели и посетители дома меняют самое впечатление стен; безобразие самих стен благообразится благообразием жизни; обратно...

Вот — кафэ, пансионы, отели, курзалы, и клубы: пустые, большие, тяжелые, каменные; и — сумасшедшие-тупые: дико смотрит бессмыслица окон; торчат рои труб; безобразно оскален под'езд; стоит хохот под'ездов.

Пустая действительность камня перед вами изобличает пустую действительность здесь отхлынувшей жизни; ее обнаженный костяк — вот, перед вами: чудовищный камень к у б с... квадратами окон; и — две пыльные пальмы.

И эта жизнь есть «S p l e n d i d e»...

Здесь, по каменным тротуарам, под пеклом, утирая усиленно пот, волочились с цветками в петлицах ленивые снобы всех стран в белоснежных суконных штанах и в кургузых визитках; здесь они флиртовали, отплясывая «танго» всех стран; изо-дня в день и из месяца в месяц; все так же, все те же дамы в газовых платьях, полуголые, напоминающие стрекоз, здесь стреляли глазами в расслабленных «б е л о ш т а н н и к о в»...

Теперь — все не то.

Пусты — рестораны, курзалы, отели; смешной «б е л о ш т а н н и к» — ненужный, надутый — протащится, дергаясь,

из хохочущей пасти под'езда — куда-то; он не знает — куда; остановился; и — смотрит он, как стоит полисмен, как протащится трам (совершенно пустой), как пройдет полногрудая дама с огромнейшим током на шляпе — в кричаще зеленом во всем; из под сквозной короткой юбчонки дрожат ее икры; и до ужаса страшен ее смехотворный наряд, заставляющий ждать, что она вдруг припустится в танец; но глаза ее — грустны и строги; и — как бы говорят: — «ну за что меня нарядили во все это»...

Ее жалко... до боли...

Может быть: ее муж залегает в траншеях; может быть,— в эту минуту бросается он в рой гранат; глаза — плачут; и — там они; а посадка фигуры, походка и «все прочее» моды заставляют несчастную модницу продолжать «danse macabre» в каменных тротуарах умершего города.

Дама — в испуге; а «белоштанник» — бодрится; и развинченной, дробной походкой бежит ей навстречу. Вот уже он в кафе; и ему, одному, неизменный оркестрик венгерцев визжит что-то скрипками.

Но забвения — нет. Нам поэт говорит, будто

«В бездне бесцельности
«Цельность забвения»
Бальмонт.

«Бездна бесцельности» — сотни и тысячи «белоштанников», сотни и тысячи стрекозящих франтих, заполнявших недавно здесь все; эта «бездна» отхлынула; «цельность забвения» — марево: действительность повела нас от стен этих зал через фронт к поискам живой жизни: не этой.

Оттого-то ужасны здесь положения жизни — теперь, оттого-то ужасны пустые кафе и отели; многоглазые чудовища расхохотались; и — дразнят: под'ездами. Некому под'езжать; но и — не к чему под'езжать.

Прекрасны слова из мистерии Штейнера: «У врат посвящения», живописующие один из моментов самопознания человека.

И вот!.. Теперь, —
Воистину в моих глубинах трепет!..
Вокруг маячит мгла;
Во мне зияет сумрак,
Взывая мглой миров,

Звуча из бездн души:
«О человек, познай себя!»
(Из ручьев и из скал раздается
«О человек, — познай себя!»)
Меня меняет сумрак;
Меня меняет бег дневных часов.
В ночи блуждаю я.
И следую в мирах за орбитой земли.
В громах — раскатываюсь;
И мерцаю — в молньях.
Я есмь!.. Погаснувшим
Я чувствую в себе себя.
И вижу собственное тело,
Как существо чужое, — вне себя,
И от себя далеко...
Познание дало мне силы
Перенести себя в другом.

И далее:

На изжитую жизнь меня
Ты поворачиваешь снова.
И — как мне вновь познать себя?
Лик человека я утратил:
Мне дикий червь мерещится
В усладах страстных вставший, —
И ясно ощущаю,
Как мглистый образ морока
Чудовищный мой лик.
До времени в своих глубинах скрыл.
Моих глубин меня поглотят бездны...

Момент самопознания человека переживает теперь человечество в целом. Самопознание — горестно: то, что таинственно жило под кровом дневного сознания в нас, — разлилось вокруг нас; в громах раскатывается и мерцает в молниях. Форма же прошлой жизни, это — тело культуры, стрясенное грянувшим кризисом — как существо чужое; мы теперь созерцаем его таковым, каким было воистину это тело; загримированное утончеиейшей модницей; грим отстал, смыт войной; и мы — видим (быть может каждый из нас), —

Как мглистый образ морока
Чудовищный мой лик
До времени в своих глубинах скрыл.

Мы должны теперь, обвиняя других, обвинять и себя; и созерцая чудовище браней, гремящих повсюду, сказать им:

«Да, я — это ты!»

Познание дало мне силы
Перенести себя в другом.

Иначе:

Моих глубин меня поглотят бездны.

Рудольф Штейнер в «Пути самопознания человека» великолепно рисует то страшное состояние сознания, которое подстерегает нас на грани двух состояний сознания: «Чувствуешь себя как бы окруженным грозою и бурею. Слышишь гром и видишь молнии. Чувствуешь себя пронизанным силою, о которой дотоле ничего не знал. Потом чудится, что видишь в стенах вокруг трещины. Хочется сказать себе самому.... дело плохо; молния ударила в дом, она настигает меня; я чувствую себя схваченным ею; она меня уничтожает» [1]).

Не чувствует ли себя человечество ныне пронизанным страшною силою, И «дома» наши нам не дали ли трещины? Дело плохо; молния в нас ударила; уничтожает она.

43.

Осенью, во второй год войны, я приехал в Монтре; и — бежал.

Монтре — мертвый город.

«Белоштанника» видел я; он напомнил мне дикаря, анахорета мертвого города, распевающего печально о прошлом.

Среди пения птиц и ручьев я смотрел себе под ноги, где у озера омертвевшим пятном расползалася безобразная бугорчатка из каменных, маленьких кубиков, как растущий лишай на цветущей природе.

Таково Монтре с гор.

Изредка я опускался, теряясь в об'ятиях зданий (пересекал их пустые фои); троттуары, лестницы, крыши казались вселенной; а вселенная гор за Монтре из Монтре принимала вид обыденнейшей цветной фотографии (прикосновения к пошлости, все опошляет).

---

[1]) «Путь Самопознания Человека» стр. 19.

Мне казалося: эти кубы домов, безобразно огромных, бестильных, разгромоздились над бездной; их удел — оборваться в ничто или же: медленно раствориться в бездонном, (по образу и подобию облак), рассеяться маревом; в никуда и в ничто поднималися стены домов; и ничто глядело из окон; выбивались ковры; клубы пыли валили с пустого балкона; с веранды и глупо, и пусто грустнел бедный сноб: в никуда и ничто.

Раз'ялись иллюзии будто бы многокрасочной жизни; ее краски — татуировка; и бронзовеет под нею дикарское тело; и каменеют под пестрыми амулетами дамских мод тела «каменных баб»; вспоминаю невольно: еще недавно приняли многие ницшевскую «blonde Bestia» просто «бестией»; оказалося: биологический блондин, «blonde Bestia», есть — болван: пережиток каменного периода, неизвестно как попавшего в будущее, нам оттуда грозит: омертвением, одичанием жизни.

Праздность жизни — дикарство.

Дикари — декаденты; они — обломки культур; неосмысленность утончения жизни — раз'едает культуру; и низводит к дикарству; утонченность экзотики, стилизация и искусственный примитив — переходные стадии от культуры к дикарству; и футурист (Парижанин, Берлинец, Москвич — все равно!) — переход к дикарю.

Карфагенские бритвы в позднейшем периоде жизни встречаются: у танганайского негра; там они — боевые ножи; так всегда: футуристические манифесты о разгроме искусства обернутся действительностью; томагавок «грядущего хама» грозит Джиоконде.

Среди нас, в городах, образуются новые племена: папуасов XX века; в многообразни проявлений бежит папуас среди нас; он — «тангист»; он «апаш»; «футурист» есть одно проявление; «белоштанник» — другое.

В настоящее время с нас сдернуты: украшение, амулеты и кольца; лики мертвенной жизни восстали: кричат; безобразие мертвых курортов — кричащее проявленье дикарства XX века; пока била в них жизнь — мы пьянились ее кричащими блесками; но эти блески суть перья и кольца, которыми нас обманывал папуас, утверждая, что он — европеец: и мы — ему верили; и танцовали мы — кэк-уок, негрский танец; и «кэк-уоком» пошли мы по жизни; и «кэк-уоковой»

поступью бродит доселе один — грустный фат; в мертвом городе: печать «Кэк-Уока» и «Танго» — отпечатлелися на всем проявлении — в нашей жизни; и она — печать дикаря, которого якобы цивилизацией рассосала Европа; не рассосала — всосала: его огромное тело в свое миниатюрное тельце. И Полинезия, Африка, Азия протекли в ее кровь: в ней вскипели; в ней бродят и бредят: уродливо-дикой фантазией, беспутницей плясовой, изукрашенной жизни: бытом, стилем и модами; и даже — манерой держаться.

Европа — мулатка.

Что то дикое есть в безобразии стиля домов, в сумасшедшем взгляде пустых мрачных окон отелей, в глухих звуках гонга, призывающего в час обеда к огромным столам... «Никого».

Мертвый город — курорт — без людей напоминает ряды огромнейших черепов, оскаленных под'ездными ртами; это — смерть; и от нее мы должны отрешиться: создать город жизни — «Град Новый»: Град Солнца.

Если мы не осознаем ближайшей задачи своей, то мулатский облик Европы из шоколадно-лимонного станет... бронзово-черным; и из легкой личины «утонченной» кэк-уоковой жизни вдруг оскалится морда негра: томагавк взмахнется.

Негр уже среди нас: будем твердо... арийцами.

44.

Говорит мне знакомый: «Вы поедете на Дуриго?.. Дуриго чудесно поет»...

— «Посмотрите: а звезды то ... звезды?

— «Там пролетали на-днях аэропланы.

— «Ах, то-то стреляли»...

В лиловой багряности те же тучи несутся; и — тот же Юпитер с Венерой: с любовию — мудрость. Соединение в небесах, а на земле — разделение.

— «Ну и так — на Дуриго?»

Но о Дуриго не хочется думать; пусть все едут послушать Дуриго. Не поеду я на Дуриго, не надо Дуриго. Все хотят поразвлечься. Развлечения в Дорнахе редки; буду же развлекаться и я; у меня развлечение есть: Александрийский период культуры, о котором я думаю.

Восток или запад?

Вопрос — «огненный»: не потому, что в нем слова «восток», «запад», а потому что этими словами мы неожиданно выдали нашу страшную тайну, что все — умерло, провалилось и сгнило в нас; так что мы уже черпаем силу во вне (не в себе): на востоке, на севере, северо-востоке и юге...; основные восприятия нами культур, быта, мыслей, космическим сдвигом выброшены из нас во вне: на восток и на запад; в таком случае наш вопрос — подбиранье частей нашего сердца, вырванных из груди и раздавленных народами; и сказать: «я — восточник» это значит сказать, ну — например: я без носа: у меня он был, но он... Я нашел его на востоке: великолепный нос, из слоновой кости — попробуйте...

С постановкою этого рокового вопроса выдается признание, что привычки, быт, моды, искусства, культуры и мысли суть трупы, которые заражают нам воздух, и которые мы должны бальзамировать во избежание всеобщего мора и отнести в музей — к мумиям; наши «востоки» и «запады» — мумии нашего духа; огненно признание это; огненна наша боль, что не люди мы, а — западно-восточные трупы; ощущение страшного громового удара сопровождает наш вопрос — молнию: «восток или запад»?

Обратно.

Вопрос — «молния вопрос» не потому, что интимнейшие биения духа в нас мертвы, а потому что биения этого духа нам разрывают границы пространства и времени, что в человечестве вспыхивает пожар: пожар жизни духа; перегорает бывшая черта между «вне нас» и «в нас», так что все внележащее, отложенное, умершее некогда... воскресает; что подобно Тихо де Браге, Копернику, Кеплеру, разорвавшим тесное небо в безбрежность, мы рвем ныне время с историей (его плотью); что когда-то бывшие на западе и востоке культуры повосставали из смерти — и бросились в душу: быть интимнейшей составною частью души и ее разрывать в мыслях, стилях, вкусах, стремлениях, чаяньях, что не мы стали мумией, а мумия фараона Рамзеса II к нам вышла из своего стеклянного гроба, что история — кончила быть, и что времени — нет.

Огненно признание это; огненна наша тайная радость, что не только воистину воскрес к жизни Христос, но что и мы в нем воскресли.

Но вернее всего, что два полюса (жизнь и смерть) одновременно скрестились в вопросе восток или запад? И умерло, разложилось и вывалилось из души (на в о с т о к и на з а п а д) ее историческое, преемственное представление о содержании всего: мысли, быта, культуры истории, устремлений и чаяний от какого-то глубинного удара души, от которого у современного человека на-двое была рассечена грудь и был вырван язык; вот он — труп; не оттого ли: что так обострено сознание лежащего трупа (мировая война показала, что т р у п ы не умерли), не оттого ли его должны осенить и надежды в его трупном лежании, что он встанет и скажет:

Как труп, в пустыне я лежал...
И Бога глас ко мне воззвал:
Восстань, пророк, и виждь и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей.

Пронесется тогда, что —

Открылось! Весть весенняя!.. Удар молниеносный!..
Разорванный, пылающий, блистающий покров!
В грядущие, громовые, блистающие весны,
Как в радуги прозрачные, спускается... Христос.
И голос поднимается из огненного облака:
«Вот тайна благодатная, исполненная дней»!
И огненные голуби из огненного облака
Раскидывают светочи, как два крыла, над ней.

Покров — душа наша: огонь духа сожжет ее; если в ней духа нет, то сожженная, она явит нам труп: наше тело; если искра духа в ней есть, то он — будет светом нашей телесной лампады, где душа — только масло, которого назначенье: сгореть.

Восток или запад? В этом вопросе — первое дыхание бурь, огня, от которого уж пылает земля и который сожжет в нас до тла — все что в нас не огонь.

Восток или запад?

46.

Одинаково остр вопрос — на востоке и западе: в России, в Китае, в Европе, в Америке, на Сандвичевых островах, у бурят...

Кто «мы» — чукчи, буряты, немцы, русские, малороссы, литвины, иль... люди? И кем должны стать: обитателями провинции, страны, континента, или же — обитателями вселенной, участниками космической жизни, равноправными гражданами всех планет и всех солнц?

И говорят нам: «Мы — з а п а д». Но на западе; «з а п а д а» нет. И говорят: «Мы — в о с т о к». Где «восток»?

Что «востока» и «запада» нет, было ведомо Гете и очень многим до Гете; почему же все-таки:

— «Восток или запад»?

Да потому что все — треснуло: омертвенела культура; и — валится; что какой то глубинный росток, пробиваясь наружу, рвет ее умирающие и набухшие части; бывшее центром жизни вытолкнуто к периферии, во вне; и мы ходим чреватыми.

Столкновение двух культур, душ и рас раскололо нам душу — о дух; расколотые половинки души симметрически закачались и выпали (из нас — во вне нас) «западом» и «востоком»; и что было не видно доселе, стало видно теперь.

Охватить грандиозности кризиса нам нельзя в потрясении нашем; все охваты умеренны; все «в о с т о к и» и «з а п а д ы» лишь пристойная маска мирового скандала; произошла огромная непристойность: жизнь треснула; но по правилам доброго старого времени мы стараемся все еще игнорировать трещину, а расколы жизни смягчить: «затупить в антиномию меж германцем и русским» мужичком и чиновником, славянофилом и западником.

47.

Не понимаю я деления на «восток» и на «запад»: передо мной серия многообразных делений по национальностям, по идеям, по вкусам и по периодам времени; эти серии «з а п а д о в» и «в о с т о к о в» напоминают материю цвета «ш а н ж а н»; скажешь: «Вот, вот — восток». Отойдешь на шаг, скажешь: «запад»; отойдешь на четыре шага, и — «восток».

— «А з и я б ы л а н а р о д о в е р ж у щ и м в у л к а н о м» — так когда-то напыщенно сказал с кафедры один профессор

истории Гоголь-Яновский. Для известного периода — да; вообще — нет и нет! Северно-европейское происхождение «востока» есть факт науки: «народовержущий вулкан» передвинут: он — двигался: с севера Европы к востоку и югу; но — опять-таки: как попали в Испанию древние изображения ацтеков? И откуда запали в архипелагские древности пернатые краснокожие? Геология дает нам право думать об исчезнувшем континенте меж Америкой и Европой, о мифической Атлантиде; в ней — начало «западов» и «востоков»: «народовержущий вулкан» тут, и из нее струя лавы через Европу на Азию — оплодотворяет Азию и в сумеро-акадийской культуре слагается в тот «восток» собственно, который не так уже древен и не вовсе восточен: история и деликатней, и тоньше провозглашенья о ней профессора истории Гоголя в громовержущей реторике слов:

— «Азия была...» и т. д.

Гоголю простителен этот образ; но он нам не простителен; непростительно деление в наши дни на деторождающую, безмозглую Азию и на Европу — бездетную, но... с идеями: на «восток», и на «запад».

Таким «западом» окажется Герберт Спенсер для нашего русского западника (до и после — «востоки»); и таким «востоком» окажется наша Русь, если мы ее сложим по образу и подобию старинного быта: «извержение чад» будет в ней; извержение мыслей — не знаю.

48.

Наши «западники» и «восточники» населяют наш умственный мир несуществующими «западами» и «востоками».

Заратустра — восток или запад? Географически он восток, а, по правде сказать, он — конечно же — «запад»: его связь с Гераклитом и далее с Гельдерлином, Новалисом, Демелем, Моргенштерном (великолепнейшим современным поэтом, недавно скончавшимся), с Ницше — установима, отчетлива; стоит взять в руки «Гаты» Ясны, — т. е. гимны из книги, приписанной Заратустре: солнечная гуманная ясность и утверждение личности — в ней; Заратустра — солнечный щит, защитивший некогда запад от злого мрака туранства; он — «западник»; и, конечно, Кант учредитель Китая: во всем строе мысли Шопенгауэр — «индус», провозглашающий незыблемость истин Веданты и обращающий провозглашение это в

эпиграф системы; но рождаются в нем — Ницше, Вагнер: и ими пульсирует запад.

Что такое Фриц Маутнер, Вильгельм Вундт, Бэнно-Эрдман и очень многие прочие? Двое первых пригвождают мысль к корню слова: а корень слова — «нутро»; выводят из безглагольного и чисто восточного взвизга к физиологическому восточному взвизгу «нутра»; солнечность смысла слова и мысли стираются ими. А Бэнно-Эрдман, психолог и логик, гласящий, что суждение «являет собою течение словесных представлений, которому не соответствует никакого значения» — он «восток» или «запад»? Утверждениями этими разве не явно оскалился на нас западный Сфинкс эфиопской своей гримасой; в утверждениях этих с запада прет «восток».

Борьба «западов» и «востоков» — борьба химеры с драконом; оба — мифы, не уплотненные еще никогда и желающие воплотиться впервые; воплощение мифов есть выход: из замкнутой исторической жизни в незамкнутость жизни мифической; и из нее — в дали космоса: на рубеже ее, угрожая и застилая нам путь; перед нами встают «восток», «запад»: западный пролетарий духа и Ксеркс; восточный парий и... духом играющий ницшевский Заратустра меняют обличия; меж ними — едва заметный пролив в океан новой эры: там ждет нас Видение Будущего — не восток и не запад:

«О Русь! В предвиденье высоком
Ты мыслью гордой занята:
Каким же хочешь быть востоком —
Востоком Ксеркса иль Христа»?

Вл. Соловьев.

49.

В ближайшей истории запада — где «запад» западников? Разумеется в схоластике его нет: между тем, она — полузапад; в ней — слияние аристотелизма (запада) с александрийской религиозной догматикой, которая есть опять таки: сочетание «западника» Платона с востоко-западным гнозисом; так слияние этих линий с выявленной в христианстве явно западной линией из явно восточной, еврейской — рождает начало схоластики: что такое схоластика? Ну допустим, — «восток», коли западный гуманизм поражает главу ее: но и это наследие

запада несомненно зачато — в «востоке», коли «мистика» есть восток (по уверению западников), так сам западный «запад», сражающий «полузапад» схоластики, превращается в плод несчастного брака с «востоком»: незаконнорожденность его — налицо; в своих чадах — в протестантизме, в науке, во всей истории философии — продолжаются незаконные браки; и перед нами проходят — «китайская» линия кантианства, индуссизм Шопенгауэра и весь «восток» его линии (Гартмана, индусистов Дейссена, Чемберлена); эта линия интерферирует культурою явно западных мифов — у Вагнера, Родэ, Ницше... Где — «восток» и где «запад» на западе?

Русский западник вынужден признаться, что его запад — Спенсер, Конт, Милль. До них на западе лишь «восток»; после них — он же; но человечество Конта — современная маска «София»; «непостижимое» Спенсера — современная конфуцианская маска.

50.

«Запада» на западе — нет. И точно же: нет «востока» в востоке. «Восток» и «Запад» — треснувшие каркасы умершей культуры, из середины которой мы уже выходим в борениях нашей совести, в падении великолепных соборов ее, в мировой войне, в мировых безумиях, в революции, нас влекущей к Голгофе: завеса старого храма разодралась ныне на-двое: на «восток» и на «запад»; за ней — мгла; за ней — возглас: «Ламма саввахвани».

Совершившееся раз с Одним — да совершится со всеми: мы примем Распятие и потому-то мы знаем наверное, что там ждет нас за мглой: и туда, за мглу, отвечаем, мы на едва слышные вести оттуда:

— «Воистину...»

51.

Чем был «запад собственно»?

Возникает он медленно от 10-го века до нашей эры и возникает особенно от 7-го до 5-го. Его родина — Греция.

В двадцатипяти столетиях оплотневает он архипелагами отчетливых островков в многовидной зыби влияний, привычек, культур, стилей, мыслей; оплотневает в индивидуальных сознаниях (ни туземных, ни варварских) из морей смесительств «востоков»: он — в синтезе, в переработке всего материала истории; в определенной местности, в культуре, в науке нет

«з а п а д а с о б с т в е н н о»; науки, искусства, культуры — его материалы.

В начале явления «запада» в Греции справа и слева стояли огромные континенты культуры: и точно маги, с дарами готовых кристаллов склонялись в провал сознания между ними, где еще бушевали моря и где еще возникали первые образования нашей мысли, т. е. «з а п а д а с о б с т в е н н о»; в Индии ей была готова уж форма (философия «Самкии» слагалась); в Египте — формуемый материал, т. е. наука, строй жизни, законы и пр.

А — «з а п а д а с о б с т в е н н о» не было в кипении финикийских и пеласгических мифов, переливающихся друг в друга, всецветных, на черной утробе сознания: здесь более поздняя Греция под покровами мифов влита в древнюю, азиатски-арийскую мать: в ней и бродит, и бредит, вытарчивая остатками материнского тела из предания орфиков, пифагорейцев, мистерий и мифов; здесь мы — в прощупях уже не мысли, а темного «в о с т о ч н о г о» бреда, нас об'емлющего странно-реальной, изведанной, но позабытою жизнью; в хаосе смесительств и мифов — плоть «з а п а д а с о б с т в е н н о»; у него нет своей плоти; зажил в старой плоти он, которую ритмизировал, конфигурируя ее бессвязные части и высекая на них свои чеканные знаки мысли — архипелажные острова в неизреченных и нечеканных морях; эти знаки, слитые с морем «востока», как ракушки с телом моллюска, впоследствии, в истории новой мысли, отодрались и стали: каркасами мысли.

Финикийская кровь переливается свободно в субстанцию греческих мифов и свободно входит в Египет; растворяясь в (мусикийском) греческом пульсе, перерабатываясь и из него расцветая всеми видами метаморфозы богов: образы т е о к р а с и и нам являют впоследствии метаморфозу: быкоголовый Дионис, Протагон — Приап, Артомида — Геката и пр.

Все гебридные формы кровосмесительств сознания расцветали ритмично в пульсации сознания греков.

52.

В дочеловеческой, в космической мысли, медленно разверзая и убивая утробу, рождается человекообразная мысль и влечет за собой свое прошлое — темный хвост... роковое наследство доисторической мысли — шелестящей, ползущей змеи

с человеческой, окрыленной главой: это темное прошлое в нас — за порогом сознания, обнажаемым в любой день, в любой час в суете современности.

Мысль грека странная: у нее вместо ног — хвост змеи, тянущийся за ней в миф мистерий и соединяющий ее, как пуповина младенца, с темным материм чревом протагоновой, орфической ночи мистерий и ужасов: ужасает она темнотою своею; таковая, х в о с т а т а я, мысль еще даже у греческих физиков (Анаксимандра, Фалеса), оплотневает она н а д сознаньем, как мысль собственно, зыблет ужасами «з а п о р о ж н о е» поле его, отчего при медленном погружении в мысли ранних философов чувствуешь, как волосы встают дыбом и тело пульсирует, ощетиниваясь будто безвидными волосинками от п а н и ч е с к и х ужасов: это есть ползающая з м е я, а не мысль в нашем смысле, которою мы владеем и которою изживаем; змеевидные мысли греков, обвиваясь вкруг нас, как вкруг древа, сами мыслят себя, изживая нас, кладя в нас свои яйца, из которых без всякого нашего ведома вылезают змееныши, и, усыпляя сознания, точат ходы в мозгу, прорастают извне над головою, колеблясь живой шелестящею «кроною» («г о л о в а М е д у з ы» — отсюда; отсюда же — «в о л о с ы д ы б о м»); такова же мысль Гераклита: ее действие в нас есть жизнь змеи в нас.

Смысл принято нами связывать с определенною, покорною, нами созданной и нам послушною мыслью; и потому-то нам в архаической мысли греков нет внятного смысла: есть иллюзия смысла мысли, то есть, какая-то жалкая и пустая абстракция — кость под мускулом мифа; но костяк и мускулы в архаической мысли — оживающий организм, если мы в нее входим, ее не разламывая: в нем сознание наше головокружительно расширяется в образы давних былей — о первозданных громадах: о рухнувших космосах; все в ней — прошлое; н а п о м и н а е т, а не внятно учит она; взятая нашей мыслью, она — существует, как отзвук чего-то как... п а м я т ь о п а м я т и.

53.

В старой мысли нам ползает змееногий титан; в более позднем периоде укорачиваются змеиные части; наконец, они — хвостик сатира; начиная с софистов, мысль — сатир: особенность ее, что оторванная от своего огромного прошлого, она

весело диалектически скачет, уподобляясь козлу; и она — с а т и р и ч н а; роль Сократа тут представляется нам в парадоксальнейшем образе: он гоняется за роями этих мысленных сатиров, накидывает им на шеи аркан, полоняет, дисциплинирует и выпускает их на софистов; у Платона они смиренно склонились перед неведомым Богом, у Аристотеля маршируют отрядами силлогизмов; пропадает их резвая дикость; по отбыванию строевой, логической службы, этих сатиров видим мы уже в образе мирных ремесленников, изготовляющих всевозможные изделия техники и становящихся рассудочными, методическими понятиями наук; в XIX веке переменилось обличие «сатирической» мысли; хвостик спрятан под фалдами фрака; и сменились копытца ботинками; золотые очки — на носу; и на груди — даже — даже! — порою: приват-доцентский значок; так слагалась нам м ы с л ь, то есть, собственно запад.

До . . . мысли не было: были — з м е и. . . .

Эпоха рождения ч и с т о й мысли совпадает с эпохою рождения ч и с т о г о идеала искусств: мы видим Фидия.

Мы видим суровое великолепие т р а г е д и и (пятый век), повествующей: старые громады утрачены; с сознания человеческого хвост змеи сброшен; пороги логической мысли его с мысли срезали: он пополз теперь раком; происходившее от 1000—500 года внутри людского сознания (героический период) — произошло окончательно: мифологическая душевная брань уже оплотнела историей (персидские и наступающие пелопоннесские войны); трагедия — м о г л а б ы т ь: повествованием о Геркулесе, младенце и з м е я х, вползающих в его колыбель; но вот з м е и задушены внутри нас, стали мыслями, выброшены на поверхность жизни мрачнеющим историческим роком; появление «в о с т о к а» и «р о к а» — тогда: появление П е р с а с востока, как врага жизни Греции; и появление его же — уже внутри самой Греции под личиною братоубийственной брани: наступающей пелопоннесской войны; все это громы уже п о с л е молнии совершившейся катастрофы старого мира; молния была; и когда П е р с появился, катастрофа была уже в прошлом; и — очищалось создание: з м е е н о г о е прошлое грека уже было отрезано; миф в историю воплотился; перестал быть опасен; душа справилась с мифом: у к о л о с с а л ь н о г о П е р с а н о г и б ы л и и з г л и н ы.

Трагедия могла быть о ч и щ е н н о й; мысль, сложившаяся в отчетливое единство в лице Сократа, Платона и Аристотеля, справилась со своим «в о с т о к о м» — самопроизвольно зажившей змеею; покорение «з а п а д а» и «в о с т о к а» Александром Великим — удар меча грека по глиняным ногам рока и разрыв исторических перспектив в судьбу сверх-историческую: разрыв самой Греции, как исторически самобытного тела, в оплодотворяющее начало «з а п а д н о - в о с т о ч н ы х» культур.

54.

Центр событий, слагавший блистательную историю Греции, остается сокрытым; воочию никто не видел его; не воплощается он в образ: мысли, героя, события; но духовною бурей проносится по куще душ и отрясает плоды: падают в день истории индивидуальности, события, мысли: раздается гомеровский эпос; отражают персов; потрясаются Софоклом и Фидием; и волнуются событиями пелопоннесской войны, падают плоды древа: в историю отрясается Греция; и з м е и пифийских расселин теперь — кастальские струи; у них жала вырваны.

До э т о г о: мысль — кончик прощупи, расширяемой в конус огромного, утробного мира; переломился он, перевернулся и протянулся под ясное небо, развиваясь в форму чаши; и Платонова форма — кристальная чаша: Грааль.

Куда чаша протянута?

В Александрию, к Филону, к Плотину, к автору Евангелия от Иоанна: логика протянута к . . . Логосу: вырванная из царства тьмы, мысль охвачена светом; она протянута из истории: один миг она — над историей даже, рисуя всем грядущим культурам свои грядущие судьбы, не достигнутые и поныне; пресуществление самого центра логической жизни — в плоть жизни и явления логики, как реальной с т р а н ы иных жизненных форм; в этом миге истории жизни греческой мысли самая линия всей исторической жизни загибается в круг вокруг е д и н о г о м и г а; ее конец есть начало, и Вечность — центр; м е ж д у Ф и л о н о м, П л а т о н о м и Г е р м е с о м с их «Л о г о с а м и» с т о и т ж и в о й Л о г о с.

Здесь уже нет ни «в о с т о к а», ни «з а п а д а», а — ритмы пульсов, где а р с и с есть темный фон ее слепительных видимостей, и где т е з и с — явление слова мысли, как... жизни

воистину; пульсация ритма бежит по всей мысли от Фалеса до современности, точно память о памяти самой миссии мысли.

55.

Мысль в сложении — подсознательная, физиологична мифология — физиология крепнущей мысли; физиологическая гигиена греческой мысли — в мистерии; здесь, в мистерии — организация, ритмизация, рост крепнущих мыслей — мифов вплоть до стадии возведения их к философеме Платона и к логике Аристотеля; впервые оторвана мысль от своего материнего организма (мистерий и мифов); за Аристотелем и Платоном мысль Греции вянет — до первого века, где она возрождается; из-под туманов эклектики в соединении с восточной культурой являет она нам контуры филоновой философии; контуры предваряет туман; туман — до; туман — после; многоразличие оперений, эклектика, «герметизм», «орфизм», «апокалипсисы» превращают строгие контуры мысли Платона в какие-то павлиньи хвосты: что в них ясно — посредственно; что огромно — туманно.

56.

«Евангелие от Иоанна» соединяет крепнущую христианскую мысль с традицией эллинизма; в «Пастыре Народов» Гермеса — соединенье Египта с Элладой и христианством; в теософической философеме Филона перекрещены произведения эти; — образуют три точки, между которыми складывается треугольник культур (иудейско-египетско-эллинской); треугольник предполагает и центр; но — центр отсутствует: соединяющей и разработанной философемы, подобной Платоновой, не находим; и перед нами проходят рои легендарных фигур (например, Аполлоний Тианский), отуманенных в гнозисе, в мифах, в преданиях и засыпанных обломками каких-то рухнувших храмов мысли (эклектика).

Оставаясь на почве мысли, невольно воскликнешь тут: «Где же не данное в истории построение мысли, определяющее многообразие ее бьющих жестов? В чем единство многоразличий и как разобраться в них?»

Будь единство системы — александрийский период второго века был бы периодом глубочайшего творчества мысли; без него — синкретичен он, пуст. Пустота сочетается с голубиной: пустота — налицо; глубина — потаенна.

57.

Третий век . . .

Справа и слева от некоего искомого центра — две линии мысли: безвозвратно расходятся на протяжении четвертого и пятого века.

Представители одной линии суть: Плотин, Аммоний Саккос, Порфирий, Плутарх, Ямблих, Прокл, Олимпиодор и другие; представители другой линии: Отцы Церкви; но у истока той линии стоят христианские богословы, очень близкие к мысли Эллады и ей очень кровные, как, например, Ориген, Тертуллиан, Иероним, образующие — лестницу постепенного отдаления от платоников и перебарывающие в себе естественное к ним тяготение; платоники падают в магию; заострение в теологию и падение в магию отрезывает линии эти от их вяжущих центров первого и второго столетия; в Прокле, в Ямблихе упадает Плотин: в Августине философский отбор теологии отчеканился догмою; и стоит неподвижно она от пятого до девятого века; шестой век поэтому характеризует уже не мыслитель; выразитель его есть — поэт: Дамаскин.

Это стояние мысли не может пройти безнаказанно: мысль, ссыхаясь, разламывает теологию христианства — на «восток» и на «запад». Под ударами бьющих Европу арабов, в героическом воздухе IX века начинается ее ренессанс; эпоха схоластики перед нами.

58.

Начинается трояко она: провозглашение папы орудием Св. Духа антропологизирует (хотя и фальшиво) теократию мысли: возрождение логики теологии Скоттом Эригеной закладывает фундаменты возрождения логики собственно и всех будущих споров номинализма и реализма; всю философию (вплоть до нашего времени) разрезает тот спор на две линии; чрез Абеляра, Оккама и далее: перекидывается к Декарту; и — импульсирует Ньютона; тянется через Локка, Юма и Канта к теории знания наших дней; а другая линия чрез Альберта Великого, Фому Аквината, Раймонда и прочих — вливается в мысль Джорджано Бруно; живет в метафизике, поднимает голову в наши дни; и возрождается даже в своей специфической форме уже после Канта — Росмини.

Третья линия этого времени — ордена, возрождающие теософический праксис и от этого невольно вводящие в свое

лоно отвергнутый мистико-оккультический гнозис под многовиднейшей формою.

Все три линии перекрещены в лоне церкви; центр скрещения нам дан не в единстве системы, а в движущем пульсе, выгоняющем цельность романского стиля, процветшего поздней... готикой, в живописи неизвестных нам мастеров; катится он в XIV век через Джиотто и Данте; им построены: великолепие фигур, в роде Луллия (философа, трубадура, поэта, пророка и мученика) основателя серии университетов и системы наук, которого чуть-ли не возводят в святого, чтобы потом сжигать его книги; и заложено: возрождение лирики, литературы, романа, легенды, легенды легенд, нам являющей самый образ е д и н с т в а культурного периода в виде чаши Грааля и рыцарей вокруг Чаши.

Перед нами стоит Персеваль: перекликается с нашим временем; наше время ему отвечает; и мистерией Вагнера соглашается оно с ним.

59.

В это время (с конца XIII столетия) европейская, христиански окрепшая мысль, культура и творчество покидают свои полуживые каркасы; каркасы сжимаются, сохнут: в инквизиции, иезуитизме, в чудовищном «Style Jésuite» обезображены, стерты, убиты: искусство, мысль, знания. Будь Джордано Бруно в XII веке, его бы не тронули; официальный XVI век — его ведет на костер.

От XIII до XIX столетия процесс распадения ц е л ь н о с т и м ы с л и уже протекает вне церкви; в английском механицизме, в энциклопедии французских мыслителей и в метафизике немцев расколото единство культуры абстракции, технически утончая мысли, их и множат и сушат; в XIX веке процесс разложенья закончен; технология логики умерщвляет нам систему наук; позитивизм подменяет единство системы бескровнейшей фикцией; метафизика получает смертельный удар в школе Канта; методология, логика и система наук — три к а р к а с а остановившейся мысли: за ними за всеми — их все покрывающий купол: теологический догматизм; двадцать пять столетий мы строили мысль; и храм ее кончен.

— Он — пуст?

60.

Из-под форм каменеющей мысли бьют нам новые струи ее. Плюрализм истин мысли в методике полагает единство ее не в абстракции, но в единстве строющим ритмом; в диалектической метаморфозе понятий, воспринятых жестами, в нарастающем вечиодвижимом смысле, в непрерывной текучести истин, в конкретизации истин: мысль собственно есть душа понятийных смыслов; абстракции — тело их; в «Метаморфозе растений» у Гете, в «Теории света» его еще робкие следы жизни грядущего стиля мысли; и схема стиля — у Гегеля; еще она — неживая. В чаемом пересечении Гете с Гегелем — организм новой мысли, где понятия, образы и системы суть бьющие органы: ритмы единого существа; Незнакомки, глядящей на нас из-под тысячей масок-форм.

Кто она?

Цельное существо, Человечество, поставлено Контом в центр его системы наук; не абстракция человечества, и не сумма людей, а их вяжущее единство: представление о подобном единстве возвращает нам по новому гнозис.

Наконец: убиение логикой метафизики заставляет новых философов возвести эту «логику» в сущность: и брать ее в Логосе, не абстрактном, рассудочном принципе, а в Живом Организме; «Человечество» Конта есть в сущности организм жизни мысли; и справедливо поэтому Соловьев называет такой организм — Душой Мира, Софией.

Незнакомка, глядящая из-под тысячей мысленных форм, разгадана; ее будущий лик к нам снисходит; она есть София.

К ней обращается Соловьев:

«Знайте же! Вечная Женственность ныне
В теле нетленном на землю идет»...

Это — Новая мысль. Жизнь и мысль в прежнем смысле — Единство с Ней.

61.

Единство мысли — двояко: в грядущем и в прошлом.

Механической градацией методов, форм, систем — стоит храм ее в прошлом: но мы — вне порога его; из него вышли мы: он — отвергнутый нами каркас: вне его — буря образов; вне его — мгла фантастики хлещет в нас бурей; и

прет в нас «востоками». Мимо старого храма мысли и мимо бури фантазии мы должны итти в будущее; этот старый храм и эта буря — колонны более огромного храма мысли, восстающего нам навстречу из будущего: по-новому слияние всех течений: в нем по-новому видим мы восстание системы систем: методология логики в ней становится диалектикой; диалектика методов — эвритмией, эстетикой, а эстетический принцип ритма — мимика живого Лица, философии собственно, о которой сказал еще Данте:

— «Самая любовь посылает ей этот смех. Нет лжи в том, что вещают нам ее очи»...

Философия, ждущая нас с своим новым заветом; философия в человеке — София.

И о ней сказал Соловьев:

«В свете немеркнущем новой богини
Небо слилося с пучиною вод»...

Небо прежних форм мысли одна колонна огромного ее храма; а пучина фантазии есть другая колонна; и за ними — слияние их: т.-е. внутренность храма; она — с л о в о, составленное из многообразия букв, где знак, буква, эмблема, система есть один только жест переливчатой жестикуляции ее цельного образа, где мозаика тысячевидных систем начинает играть живой цельностью, где история философии лишь абстрактная б и о г р а ф и я Одной Живой Жизни, рассказанная кое-как и предшествующая Появлению образа этой Жизни.

В Ней, лишь в Ней соединение образов нашей жизни с кристаллами наших мыслей; в Ней по новому соединимся. Мы все; в Ней войдем мы впервые во внутренность внешнего ее обиталища, Храма Мысли, огромного и пустого — вчера; и живого — в грядущем. Ныне мы у преддверия: справа и слева колонны: в о с т о к (образ) и з а п а д (абстракция); внутри — образ Мысли: восток-запад, София, Премудрость зажигает нам звездные светочи из-за мрака: в этом звездном венце приближается Она — к нам.

«Знайте же! Вечная Женственность ныне
В теле петленном на землю идет».

62.

Кончился «з а п а д с о б с т в е н н о»; отработана, закруглена исторически лежащая мысль, способность развиваться в

деталях... тысячелетия даже; но в основном она — «стала»: нет ее — в единственном смысле: конкретном, активном; нам она отшлифована; ею нам отшлифована жизнь по машинному ряду; мысль вылепилась из нас и впаялась в машину; у современной машины есть мысль, и она грозит... встать из смерти; в голове же нашей нет мысли, и она снимаема с нас стеклянной логической каскою; наше сознание безголово и из пустой головы оно ширится в космос; по-новому входит космос, не через хвост, а в разбитое темя стеклянной, логической формы; двадцать пять веков живой мысли медленно вылагались каркасом; и вот: нами снимаем каркас, как был некогда снят хвост змеи с человечьего тела мысли; сознание соединяет по-новому две пережитых эпохи: мифологическую и научную; соединение мифа и мысли — вот что мы ощутили.

В катастрофический период рождения мысленной формы (теперь ставшей каркасом) грек чувствовал в себе смерть древней змеи; мы же чувствуем более: смерть земли и одновременно ветшающей формы мысли, вросшей в землю и с'евшей в земле — землю; безземляная земля с оземлявшею мыслью в ней есть машина, которую мы одною рукой держим, а стоим уже не на земле ... Где? В тверди? Почва нами утеряна: мы стоим не на земле, а на тени, приподымая всю землю, как некогда Чашу Платона — над Головою, в грядущее: да наполнится духом она! А из-под ног встает тень «востока» и «рока» — Перс: громыхает нам мировою войною, омертвелыми частями сознания, жизни, быта, истории и народами бьет он в нас: наступило «драконово» время. Перенесем его.

63.

Переносим мы и гремящую тишину, проживая меж двух деревушек — между Арнесгеймом и Дорнахом. . . .

Над Арнесгеймом и Дорнахом девятнадцатый месяц под'яты два купола величавого здания; распростерлось оно — там, с холма: озирает окрестность; купола отливают оттенком прозрачного камня, перевезенного из далекой Норвегии; он отражает цвет неба.

В ясном отблеске зорь, в мутном дыме туманов переменяется цвет куполов; переменяется он — утром, ночью и днем;

то он — дымный, свинцовый, суровый; а то — бирюзовый; то — матово-розоватый.

Здесь, под куполом, волей судьбы я работал ряд месяцев, вооружившись стамеской, под руководством молоденьких барышен, вырезающих странные, невероятные формы из твердого американского дуба; великолепно пахучее дерево, когда режешь его; слой за слоем слетает: отчетливей выявляется плоскость.

Художники, музыканты, писатели, мистики, инженеры, скульпторы — из Мюнхена, Амстердама, Парижа, Норвегии, Польши, России и Англии подали перед грозною бойней народов здесь братскую руку друг другу; здесь по почину известного антропософа-писателя Рудольфа Штейнера, возникла попытка: заложить первый камень к осуществлению в будущем новой духовной культуры искусств: знали ли мы, собираясь сюда, что катастрофа уж близится? и война упадет на плечи? Если бы знали, то, вероятно, не с'ехались бы.

Многие разбежались отсюда: огромные чисто моральные тяжести придавили нас здесь, в час войны, не говоря уж о внешних. Но и огромная высеклась радость: в момент разделения народов не разделиться, не бросить любимого дела, но утверждать человечность по новому в бесчеловеческий миг: миг войны.

Непрерывно гремит кончик фронта; непрерывно гремит за ним фронт; непрерывно гремят все четыреста километров, быть может; гремит много фронтов; гремит на востоке Россия.

Мне отчетливо ведомо, что все новые сотни тысяч людей, точно рожь в молотилки, повергнется с громом в ревущую полосу; вероятно, повертнусь и я; уеду отсюда; пока же я здесь, — буду я утверждать человечность — по новому: в бесчеловеческий миг.

Дорнах, 1916 год.

КРИЗИС МЫСЛИ

1.

Мы мысли не знаем.

Что делаем мы, когда мыслим?

Смутнейший процесс, возникающий в нас, не есть мысль: — чувство мысли; но мысль не есть чувство.

Что делаем мы, когда учимся у мыслителей мысли?

Усваиваем заявления их о невскрытом процессе, который есть мысль, запоминаем ход мысли мыслителей, полагая, что их изнутри проницаем; в действительности вспоминаем ход мысли, сопровождая его испарением дыма из чувственных образов; пресловутое проницание мысли покоится на усвоении чревом процесса сознанья; п и т а е м с я мыслями мы; но в о с п и т ы в а т ь пищу в себе не умеем. Со-мыслие по аналогии есть печальное заблуждение, потому что стирает оно положение логиков, что процессы рождения мысли — не мысль.

От Сократа до Канта свершилась работа осознавания мысли, которой плоды — в пониманий невероятнейшей сложности техники: ч и с т о м ы с л и т ь; чувственность, не присущая мысли, едва побеждается после долгих усилий; история мысли — не столько в процессах сложенья ее, сколько в правилах осуществленья контроля над нею.

История образования правил контроля — века.

2.

Но осаждаясь в учебники, схватывается эта история мысли не мыслью, а — чревом; не соблюдаем мы правил контроля над мыслью при чтеньи Декарта. И нам непонятен Декарт; девятнадцатым веком очерчены кругозоры сознания нашего, но оно — островок в океане истории становящейся мысли, вздымающей волны в столетиях; океан становления мысли в истории есть становление в нас нашей мысли: лаборатория с затворенной дверью, к которой утерян подобранный ключ.

Мы, усвоивши гребень волны, называемой мыслью, взбиваем лишь пену процессов познания; пена свергается в бездну безмыслия; и до смутнейших кипений Фалесовой мысли доходят сложнейшие звенья теперешней мысли; и фантазируя на тему о мысли, не часто мы мыслим.

Живописуя трансцендентальную апперцепцию Канта, не понимаем: усвоить мысль Канта — прочувствовать муку столетий освободительного движения мысли в борьбе со всем тем, что не мысль, но что кажется ею; здесь вложены мысли старинных эпох, став орудием мощного мозга его; орудием этим он мог чисто мыслить; не зная молекулярных движений сжимаемой мышечной ткани, передаем мысль руке; если бы осознали движения эти, сознание пережило бы кризис; так с мыслью: осознавая ее, переживаем ее, как опаснейший кризис: поражает ее огромная глубина и возможность в нее погрузиться со всей нашей жизнью; вместе с тем: возникают возможности воссоздать всю историю философии сызнова, выводя всю историю из истории потрясений души: возникают возможности видеть, что Вьяса, Капила, Фалес, Гераклит, Аристотель, Кант, Гегель, Липпс, Ласк суть невскрытое нашей собственной мысли, которая обладает хвостом, убегающим в жизнь наших органов подсознательной жизни, где отложились в процессах питания, размножения, осязания, зрения, слуха — сознания, демоны, духи и... мысли.

3.

«Трансцендентальная апперцепция Канта» — берем в ней поверхность пучины; и разбираем поверхность пучины — поверхностью: р я б и н а р я б и — сомыслие, взятие мысли Декарта; мы варвары по отношению не к одному только Канту: по отношению к любому из мудрецов возрождения, средневековья, античности — варвары мы; утончения Канта не могут быть внятными; и утончения Николая Кузанского кажутся примитивным пятном – от примитивности взятия; при касании их в нас встает то пятно: варварское касание утонченной структуры непонятого процесса!

Процесс покрывается: пеною.

Честно покаемся в том, что Дунс Скотт, Абеляр, Росцеллин бесконечно критичнее нашего времени; более требований развивают они для себя, чтоб контроль становящейся мысли, очи-

стился от аналогий, пассивно растущих, которые суть не мысль, а утроба ее организма: она почивала в до-греческой философии, выражая себя на гробницах в орнаменте гиероглифов.

История образования мускулов мысли отброшена нами; усвоены памятью результаты; в усвоении этом не образуется движений и мускульных сжатий; в рассыпанном щебне не узришь дробившей кирки; кирка — это мысль; щебень — ставшие формы: предметы, понятия; и созерцая коллекции их, не разовьешь себе мускулы: минерологи тщедушнее каменьщиков, вооруженных киркой; наши мысли — безмускульны; требуют упражнения; но — упражнения нет.

В осуществленном к о н т р о л е над собственной мыслью медлительно отлагаются мускулы мысли.

Предполагается: ориентировка в истории философии вводит в круг мысли; увы: вся гимнастика мускулов мысли должна ей предшествовать; иначе отлагается мысль в... нашем чреве — не в мозге.

Мы за чтением классиков не упражняемся в опытах выростания мысли, которые высвобождают ее из тисков исторических предрассудков; но безобразный нарост исторических предрассудков — в нас мысль; осуществленный к о н т р о л ь подменен в ней к а н о н о м.

Императив концентрации оттого-то и кажется чуждым; зачем бороздить свою мысль, изморщинивать гладкое поле ее, отражающее в совершенной пасивности все, что ни есть; отражает — не мысль; отражает историю философии — чувственность.

Мысль — активна; воспринимая пассивно ее в бунтах мира, мы, мысля, безмысленны; где отсутствует мысль, там присутствует чувственность; время восстания порабощенной толпы примитивнейших импульсов есть наше время; и наше время — есть время полнейшего успокоения мысли: до гладкого зеркала; зеркало истории мысли она, т. е. опаснейшая иллюзия мыслительных восприятий, которые суть только мы в нашей низменной части; корыстолюбие в отношении к мысли ужасно; господствует тон легкомыслия, самодовольства, упрямства: стоим де на гребне волны исторической мысли; но на гребне волны — только пена; и пена родит пузыри: пузыри пустоты.

Панорама восстания мысли — событие внутренней важности; драма разрыва в клочки всех иллюзий о нас в самосознании, в «я» (мы не знаем себя). «О, познай себя!» — раздается в начале рождения мысли; и мы — говорим:

Годами слышу их, — слова
Исполненные смысла.
Звучат из воздуха, воды;
Звенят наружу из глубин земли.
Как в малый желудь внедрено таинственно
Гигантское строенье дуба,
Так для меня в том слове,
Понятная для мысли,
Заключена вся сила,
Которую струят
Стихии, души, духи,
Разбег времен и вечность[1]).

Таково было смутное восставание мысли в безмысленном мире Фалеса, когда он воскликнул, что все полно богов, демонов, душ; «боги», «демоны», «души» — живейшие токи, смутнейшие мысли — пронизывали весь душевный его организм и орошали теплейшими струями крови первичные органы — мифы, в которых мы жили.

И вот... Теперь —
Воистину в моих глубинах трепет...
Вокруг маячит мгла;
Во мне зияет сумрак,
Взывая мглой миров,
Звуча из бездн души;
«О человек, Познай себя!»
. . . . . .

Я — есмь!... Погаснувшим
Я чувствую в себе себя.
И вижу собственное тело,
Как существо чужое вне себя,
И — от себя далеко[2]).

Предощущение Анаксимандра о беспредельном есть здесь; и — будущий дуализм элеатов («я» тело).

---

[1]) Рудольф Штейнер: «У врат Посвящения» (драма Мистерия).
[2]) Ibid.

Как пожирающее пламя,
Извечное струится в жилах слово,
Которое с такою властью
Суть солнца и земли разоблачило мне.
Оно — в биенье пульса;
Оно — в ударах сердца.
Я чувствую, как непонятный мир
Порывами глухими вспыхивает в мысли,
Слов порождение:
«О, человек, познай себя!» [1].

Здесь — восстание философии Гераклита, мир вспыхнувших пламеней, слово, стоящее в нем несгораемой Купиной.

Не случайно беру я отрывок, живописующий человека у врат посвящения: в мысль; не случайно, что путь посвящения перечисляет три стадии испытания человека: при помощи мысли, при помощи чувства, при помощи воли — испытания воздухом, водою, огнем; приближаемся к существу понимания философии древне-греческих физиков; рождение европейской, отчетливой мысли — впервые свершается. Запоминая мыслителей на зубок, отражаем, как в зеркале, их в воспринимающей чувственности; можно длительно пересказывать философии Канта и Гуссерля, вовсе не зная конкретностей мысли; восстание активности мыслить есть действие, уподобляемое громовому удару, не пережитому многими мыслителями современности — систематиками, номенклатуристами, мнемонистами. В систематике, в номенклатуре нет мысли.

5.

Есть внутренний путь мысли в нас; и с него начинается: путь!

Например: понимание модного тезиса (независимость логики) — увенчанье столетий экстазов, видений, трагедий и воскресений чрез срывы страдающей мысли (религия Логоса!).

Этого экстаза в нас нет; и любой Авицена — гигант по сравнению с нами, — младенцами. (Называй как угодно себя: разумеется — «янцы», иль «янцы» — мы все: «Кант — Гуссерль — Липпс — Коген» — «анцы» иль «янцы»); быть «анцем» — младенчество; и заостряться до «изма» — болезнь; глотая невинно как «анцы» почтеннейший — «изм», соединяем мы не-

[1] Ibid.

мощь младенцев с усталостью старцев; стоим перед Гуссерлем, не проницая всей бездны, стоящей за ним: заболеваем от мысли.

В высокомерии полагая, что знаем Плотина и Августина, не понимаем, что результаты систем не в результатах систем, а в условиях вырабатываемого контроля, уничтожающего болезни сознания. И потому то прав Ницше: «есть противники философии: и хорошо делают, прислушиваясь к ним, когда они советуют больным головам... оставить метафизику и проповедуют им очищение природой»[1]).

Тот же Ницше восторженно проповедует: «Где найти пример народа, которому философия бы вернула утраченное здоровье? Если она когда-либо являлась помощницей, спасительницей, заступницей, — это было лишь здоровьем»... И далее: «Греки, как истинно здоровые, раз навсегда оправдали философию тем, что они занялись ей; и притом много больше, чем все другие народы[2]).

6.

Ницше был посвящен главным образом в философию физиков; он развил в себе ее мускулы, подглядывая самое образование мысли и проницая отчетливо свои мысли о нем. Он увидел огромность размаха там именно, где и — «анец» и — «ист» созерцают наивности, превзойденные временем, которого не понимают они; все поспешные обобщения современной нам физики, — пережитая, ужасная ерунда, — не разделяемая творцами науки; если бы погрузились в учения их, то увидели бы явственно, что современные физики не далеки от превзойденных физиков, греческих «физиков»; мифология этих последних связуема с «просветами» современной науки; старинные мифы и положения наших дней — перекликнулись! Можем мы пародировать слова Ницше: «Есть противники современной науки: и хорошо делают, прислушиваясь к ним, когда они советуют больным головам... оставить науку и проповедуют им погружение в безмысленное созерцание природы... Истинные ученые, как истинно здоровые, раз навсегда оправдали науку, от жалких клевет на нее»..

---

[1]) Фр. Ницше: «Философия в трагическую эпоху Греции».
[2]) Ibid.

Но действительность, которая образовалась для нас, — безобразна.

Представления о мире упали: природного мира и нет уже в плесени городов, изрыгающих дым, где открылись зловещие трещины, напоминая зияния скифских расселин. Убитые миром машин, мы давно уж вне мира; творимый искусственно мир, отодвигает от нас мир, знакомый когда то — в неизмеримые дали, откуда глядится он хаосом, выбросившим на поверхность свой механизм, подчиненный не ритму, а метроному; и — да: с каждой новой машиною жизнь углубляется в хаосе; с каждой новой машиною мертвеет кусочек огромного организма вселенной; приятия мира, меняясь в обличии мира, противоестественны; органы оторваны от того, для чего они созданы; перерождаясь, рождают химеру; а в двадцать пятом столетии люди увидят вибрации — вместо зеленого цвета и вместо синего цвета.

Будет сказкою краска.

И будут рассказывать: «В те далекие времена еще верили люди в Амура, в Психею и в Краску, и — слышали: Звук».

Перерождаемся в никуда и ничто: в трансмашинную неправду явлений, влетающих призраком; посвящения двадцать пятого века будут в умении вместо серого мира вибраций увидеть: з е л е н о е зелени в к р а с н о м зари; передвигаются мира пороги; и внепорожное восприятие может стать завтра же запорожным.

Что видим в природе теперь есть не то, что умели разглядывать прежде; взглянувши на солнце, не видели солнца, а диск пустоты; вместо солнца отчетливо видели переливы лучей, как дрожащую радугу светов.

И — видели мифы.

Миф греческих физиков об огне, воде, воздухе рисовал правду жизни существеннее, чем сказание о мире вибраций философствующей механики жизни, в которой погрязли давно; рухни завтра она, на обломках ее процветут организмы вселенной; и множественность даймонической жизни проявит себя.

Это Ницше осознано.

Корни клокочущей мысли милетцев соединимы с наукою не популярных брошюр, а — Максуэлла, Френеля, Гельмгольца: с г л у б о к о й н а у к о ю, развивающей новые листья на мощном природном стволе.

8.

Мы повторяем вчерашние постулаты науки, которые вырваны с корнем; о том сказал Лодж — пять уж лет[1]); непеременные масса и форма, как функции скорости, плавятся на горниле механики, перешагнувшей Ньютона; переплавляются формы законов (как например Мариоттова), стержень недавней механики (непрерывность) — истаял: в прерывность (в закономерность, действующую капризом скачка); разоблачаются принципы; отрывается маска условности от вчерашних законов; Пуанкарэ о том говорит: «Принципы суть переряженные условности».

Представления вчерашней науки связались с эфиром, которого функция — заполнение междуатомных пустот, необходимо вводящее мир материи в основание представлений о неизменной природе; атом мыслим условно; не в нем центр материи; не он, а эфир безусловен; в эфире связуется механический мир с материальным.

Эфир — уничтожен: и упадает механика прошлого в органологию новой науки, ломая действительность материального мира в миры духоведения, которые разоблачают природу согласно началам Фалесовой философии: «Мир полон демонов».

Демон науки — гостеприимно его ввел Максуэлл и представил ученому миру торжественно: будь молекулы сортирующий демон, закон возрастания энтропии бы пал; появление одного из Фалесовых демонов в парадоксах Максуэлла — появление греческих физиков в недре научных заданий, одушевляющих физиков и математиков современности; этот демон седой старины, переряженный в остроумный фасон окрыленного парадокса, вбирается Лоджем: при углублении в размышления Рамсея об элементе неоне в воздушной атмосфере; в ½ куб. сантиметра неон занимает об'ем в ½ миллионной доли его, тем не менее, содержащей до 10.000.000.000.000 молекул, превышающих население земли в 7000 раз; сэр Дж. Томсон заметил по этому поводу: «Если бы мы не имели лучших свидетельств о существовании человека, чем о существовании ненаэлектризованной молекулы, мы пришли бы к заключению, что земля необитаема».

---

[1]) См. его речь о непрерывности на Бирмингамском конгрессе ученых в сентябре 1913 года.

Лодж говорит: не имеем мы основания утверждать необитаемость мирового пространства; нематериальные обитатели могут его населять; констатировать невозможно их способами современной нам физики; гипотетический демон Максуэлла у Лоджа размножен, представляя собой население междупланетных пространств; в современную физику входит... Фалесова физика.

9.

Фалесова физика развиваема недрами наиболее точной науки; математическое обоснование философии современной науки взрывает возможности обойтись без «вибраций»; незыблемые очертания механической зыби упали в зыбь мысли; и зыблется мир представлений недавнего прошлого.

В научные представления снова врываются: краска природы и звук, извлекаемый пифагорейскими числами. Математики осознают красоту жизни чисел; математик Бугаев гласит в своей цюрихской речи[1]):

«Истины анализа отличаются общностью и универсальностью. Истины аритмологии носят... печать своеобразной индивидуальности, привлекают к себе своею таинственностью и поразительной красотою. Этим... об'ясняется, почему иные мыслители ставили в связь с целыми числами различные вопросы мистической философии. Своим изяществом истины аритмологии пробуждают... чувство научной красоты»...

Признание примата прерывности, рвущее детерминизм механической мысли, есть в заявленьи Бугаева; он говорит: —

— Не простираются методы бесконечномалых, об'емля нам области изучения аналитических функций, в задачи, открытые чистою математикой, построения функций прерывных; «можно даже сказать», говорит нам Бугаев, «что непрерывность, есть прерывность в которой изменение идет через бесконечномалые промежутки»: анализ — лишь первая стадия математических истин; аритмология есть вторая; в ней и средства анализа, и ряд новых истин, анализу запредельных; она утверждает прерывность, как мировую основу; детерминизм — частный случай многообразий свободы прерывности; необходимость есть случай свободы, непонятая

[1]) Произнесенной на математическом конгрессе в 1897 г.

свобода она. И самая универсальность миров лишь явление индивидуального мира —

— эти выводы опровергают столь многое, что сознание наше меняет обличие; взгляды Бугаева после него провозглашает Пуанкаре[1]); физик Лодж утверждает прерывность.

Мировоззрение математика обосновано; отвлеченное знание опирается на интуицию всеединства; в ней — единство и множество; мы приходим тут к схеме числа; заключена философия чисел в абстрактных началах познания нашего.

Отношение целого к части еще занимало Плотина; в нем мыслить пытался картину интуитивного веденья он; отношение времени к числам — предмет гносеологии, полагающей число в сверх-чувственный мир; выдвигается важность теории чисел в кругах наших истин; понятием множества выводится теория чисел у Ресселя[2]), Кутюра и у Кантора; опровергаемая у Липпса[3]) и Наторпа[4]), с которыми соглашается Франк[5]), глубокомысленно замечая: «Построить теорию числа значит вывести число из того единственного мыслимого содержания, о котором, как таковом, нет логических, а следовательно и математических определений — из всеединства, как исконного единства»... И далее: «Всеединство, как таковое, есть чистое единство покоя и движения, единства и неисчерпаемости»... Или: «число есть отражение стихии движения в сфере покоя». Этот взгляд на число С. Л. Франк остроумно сближает с воззрением Николая Кузанского на особенность временных созерцаний; дух чисел по Франку — дух Фауста Гёте, который гласит о себе:

In Lebensfluten,
Im Tatensturm,
Wall' ich auf und ab,
Wehe hin und her,
Geburt und Grab,
Ein ewiges Meer,
Ein wechselnd Weben...

Математическое мировоззрение предестинирует и выправляет иные воззрения науки; динамическая атомистика в этом

---

1) «Dernières Pensées».
2) «The Principles of Mathematics».
3) Untersuchungen über die Grundlagen der Mathematik.
4) «Die logischen Grundlagen der exacten Wissenschaften».
5) «Предмет знания».

взгляде на мир выясняет отчетливо аритмологический корень свой: он вскрыт в заявленьи Бугаева: —

«Математическое толкование мировых явлений составляет существенную принадлежность современной науки. Однако, из всех отделов математики к об'яснению явлений мира прилагался до сих пор только математический анализ. Аналитическое же об'яснение мировых явлений при помощи одних непрерывных функций недостаточно. Кроме анализа, в математике существует аритмология, кроме непрерывных функций — прерывные... Аритмологическое миросозерцание не принуждает нас понимать течение событий только в их роковой и необходимой последовательности... Аритмологический взгляд пополняет миросозерцание аналитическое... Истинное научно-философское миросозерцание не есть только миросозерцание аналитическое, а математическое, то есть вместе аналитическое и аритмологическое... Природа не есть только механизм, а организм в котором действуют с напряжением всех сил самостоятельные и самодеятельные индивидуумы. Рядом с универсализмом индивидуализм имеет полное право на существование. Универсализм и индивидуализм не исключают, а дополняют друг друга... Как об'яснить, что до сих пор... преобладал аналитический взгляд на природу? Это зависело от многих причин. С одной стороны, только в последнее время стала выдвигаться аритмология, как самостоятельная ветвь математики. С другой — блестящие приложения математического анализа... приучили ученых к мысли, что анализ есть единственное орудие математического исследования... До сих пор полагали, что на каждый научный вопрос должен существовать только один определенный ответ, и не допускали случаев, когда могло быть несколько решений. Между тем, в аритмологии встречаются функции, обратные прерывным. Их можно назвать функциями произвольных величин. Они обладают свойством иметь бесчисленное множество значений для одного и того же значения независимого переменного... Таким образом, случайность выступает на сцену, как присущее свойство некоторых мировых явлений. В мире господствует не одна достоверность. В нем имеет силу также и вероятность. При об'яснении мировых явлений можно держаться различных точек зрения... Точка зрения аналитическая и аритмологическая в своей совокупности составляют вместе одно математическое понимание явлений... Лейбниц, основатель

исчисления бесконечно-малых, первый формулировал идею о прогрессе, как идею о... усовершенствовании общества... Он... считал себя творцом начала непрерывности. Он же сознавал и недостаточность его для об'яснения всех мировых явлений. Его монадология имела в виду дополнить аналитическое миросозерцание и дать... отпор наклонности к рационализму и универсализму»[1]).

И наконец: «Прерывность всегда обнаруживается там, где появляется... индивидуальность[2]).

Многопутейность науки ломает ходячие догматы жизни в сознании лучших ученых. Пуанкаре, Джемс, Лодж, Гефдинг, Бугаев по разному сходятся в этом. И то же твердит Рудольф Штейнер: —

— «Многоразличие коренится в многоразличии мира рассудка. Тут освещаются нам и различия в развитии научных метод»... Или: «Где имеющее... значение для одного только рода об'ектов об'ясняется универсальным, там восстает заблуждение»[3]).

Философия всеединства, сближаясь с философией математики, вводит в преддверие монадологии современности; аритмолог Бугаев указывает[4]): —

— Монада есть живая единица, живой элемент. Она есть самостоятельный и самодеятельный индивидуум... Монады бывают первого, второго, третьего и т. д. порядка... Монады второго порядка могут образовать монаду первого порядка... Символическими примерами монад различных порядков могут послужить следующие единицы: человечество, государство, человек — социальная монада, клеточка — биологическая монада, частица — химическая монада, атом — физическая монада, эфирный атом... Порядок монад вверх и вниз идет до бесконечности... Монады вступают в различные отношения... Мировой процесс с внешней точки зрения приводится к последовательному образованию и распадению сложных монад различных порядков... Распадение сложной монады есть только видимое разложение. Ни монады, входившие в нее,

---

[1]) Н. В. Бугаев. «Математика и научно-философское мировоззрение», стр. 15, 17, 18, 19, 20 и 21.

[2]) Ibid. стр. 16.

[3]) Rudolf Steiner. Goethes Werke. Naturwiss. Schriften. II. Band. Einleitung. XXXI и «Grundlinien ein. Erkenntnistheorie d. Goeth. Weltanschauung».

[4]) «Основы эволюционной монадологии».

ни сама она не исчезают... Индивидуальность и бессмертие монады всегда сохраняются... В таком миросозерцании примиряются наука и история, дух и материя, пантеизм и индивидуализм, свобода и необходимость... Совместною жизнью монад вырабатываются общие формы их социальной жизни. Эти формы получают название законов, инстинктов, привычек, обычаев, учреждений... Физические законы суть первоначальные обычаи или привычки монад, первоначальные формы их общежития. Они отличаются наибольшим постоянством, ибо формировались раньше и вырабатывались дольше. Инстинкты и простейшие формы... жизни следуют за так называемыми законами неорганической природы... Монада может толковать свои отношения к другим монадам двояким образом: а) в терминах внешнего изменения, т. е. протяжения и движения в) в терминах внутреннего изменения... При первом истолковании другая монада является для нее аттрибутами м а т е р и и. При втором истолковании другая монада является для нее аттрибутами Д у х а... Материя и дух понятия соотносительные[1]).

Мифы греческих физиков стали прорезями в науку о духе у современных ученых.

10.

Древнее знание есть скорее — бывание в материке мира знания: в мифе, где сочетался с узнанием познающий, где мир размышлял и где «мирилась» мысль; и предмет и познание — части органики мысли; познание — космический акт, продолжающий сеть феноменов мира; мы сами создали природу — такою, в какой мы живем.

И рефлексы познания, ставшего ныне природой, несут в себе многие знания ныне; в теориях Якова Беме о горьком есть ответы знания жизни, отшедшей от нас: «Горькое качество» говорит Яков Беме «есть сердце... жизни... Листва и трава имеют зеленый свой цвет от горького качества»[2]).

И — об'яснимы слова: «Если бы Бог не был бы во всех вещах, природа не действовала бы и не вожделела бы ни в какой вещи... Никогда человек не жаждал бы пития, если бы в этом питии не было бы чего-нибудь от Бога»[3]).

---

[1]) Стр. 2, 4, 5, 6, 7, 11, 13 и 14.
[2]) «Утренняя заря».
[3]) Мейстер Экхарт: «Проповеди».

Усвоение уподобляемо знанию — в устремлении растворять, разрывать, проницать; растворяются зерна вещей, проницается ум, разрываются грани меж миром и мыслью — в устремленье к слияниям; человек современности — подлинный гностик. Осязание, обоняние, вкус, цвет и звук переживаются — в цельности знания; восприятие цельно от цельности знания; ощущение цельно в воспринимающем чувстве, которое — в цельности знания; раздражение цельно в моем ощущенье, а ощущенье цельно в воспринимающем чувстве; органология мыслима в мысли; вибрационные действия — промышления искаженной природы, исправляя которую мыслью стираем с природы вибрации, точно пыль с ясной краски: природа блистает.

Ощущения органов чувств разрывают миры; но доклады их мне образуют в мирах моей жизни миры моей мысли; имагинацией цельности вызываются образы: зелень — горька; и — воскресает мир памяти: подлинно бывшего; оттого и рассказы Фалеса о мире природы — есть память о мифе, как подлинно бывшем; из него убежала природа, обставшая нас; мы верней ее сбросили.

Вот — намек на пучинную жизнь мира мысли, который в рассудке — поверхность пучины; а — поверхности — видим: рука... над поверхностью! глаз наблюдателя (сопровождающий все рисунки учебников гимназической физики); но внутри познавания — происходит: рука моя — «я»; и «мой» — голос мой; соединяю и руку и голос: рука оттеняет мне голос; и голос рассказывает о руке.

Скажете: то не акт познавания, а самая жизнь; но познание — жизнь; непознаваемость жизни есть знак, что познание куцо; и безжизненность мысли есть знак, что жизнь — куцая жизнь. Это все отпечаталось в положении Кантовой схемы понятия в акте познания, создающей возможности правил рассудка, в этих правилах действует память о творческих актах создания мира природы: и математик Бугаев тут прав: «Физические законы суть первоначальные обычаи или привычки»...

11.

Некогда знание было излитием всех вещей друг из друга; предметы, отдельности, индивидуумы были мигами всекипящего моря; сознания, останавливаясь на моментах, в воспоми-

наниях их понесли; в воспоминании встала вторая действительность, отделившись от первой, отрезав от мира; и голоса прежних былей — воспоминание о древнейшей бытийственности (философия физиков); воспоминание о вторично рожденной — элейство; дуалистично оно; монистичны милетцы; соединение этих двух направлений — в пифагорейском числе; вся позднейшая философия членораздельно рассказывает в познаваниях воспоминания наши; философия эта — Платон с его школой; воспоминания о мировом закипающем хаосе вписаны в остывающей лаве искусств и в остывших кристаллах предметного мира: вещей и понятий, которые — морок раздельности; где-то доселе понятия суть излучение материи в нас; так под'емлется — морок единства; в всеединстве кипений единства и множества нет; всеединство — кипит, а число — отражает стихию движения в сфере покоя; единство покоя — в движении множества; упокоение множества, гармонизация хаоса, ритм есть число Пифагора.

Воспоминание о бытийном познании сохранилось: у мистиков — в утверждениях, что природа положена в Боге, что все есть во всем, и что горькое качество порождает цвет зелени; символизм восприятий, определяемый, как аналогия ощущений философом Вундтом, поэтом Бодлером, Римбо, Маллармэ и последующей символической школой есть по Канту условие познаний; изображенья понятия в образе, бледные Кантовы схемы — возникли отсюда; они рудименты огромных миров, угашенные пеплом позднейших абстракций. И упражнения с мыслью ломают границы познаний — понятия: мыслью плавимы понятия; мышление, ломая границы позднейших познаний, отводит к первейшим истокам начала познания и в нас, где постигается опытно всекипение мысли, покрытой поздней отложеньем понятий; плавление короста — акт: уничтоженья материи, материя и категория — аберрация, наведенные друг на друга зеркальные плоскости; в них иллюзия непостижности, раздробляющая суть мысли; в одном направлении градационно отражены ряды форм, и в другом направлении отражены основные понятия знания.

Образования живой мысли божественность жизни и область теории соединяют в «феорию» (созерцание Божества); в обретенье ее — кризисы мысли, нам данной; и — веянье жизни, идущей на нас.

12.

Познание относимо к первичному в е д е н ь ю так, как базисы остывающей мысли ко всей огневеющей массе ее; прежде знание обнимало вселенную формою жизни, отлагая внутри материк материального мира и познающего, образуя предметом в предметах; в бытийственном знании не было множества форм.

Развиваемый взгляд умаляет нам линию мысли позднейших платоников; умаляет и Канта, который раскрыл в средствах позднего мышления, что уже до него явно вызрело в Санкье, элействе, Платоне, и получило чеканку в системах новейших кантистов; взгляд, развиваемый здесь, вызревал в Заратустре, в орфизме, в воззрениях Аристотеля, Шеллинга, Гегеля, Соловьева и Штейнера; Штейнер вскрывает: история мысли — в явлении этой истории, как истории развития душевных этапов; трансцендентальная философия вскрыла проблемы: реальности, мира, материи; но критически в ней остались невскрытыми: мысль, идеальность, сознание, суб'ект и об'ект; в философии Канта понятия эти берутся наивно; и оттого ее выводы о суб'екте, об'екте, сознании, идеальности — ложны.

13.

Аристотелики — нервы движения знаний, передающие импульс античности средним векам: платоники периодически вспыхивают, вдохновляют; и — застывают опять; а первые — движутся, двигают непрерывно; платонизм — созерцает, красуется; и — двоит; красота воплощения, роста, зачатия — более в Аристотеле; в сознание нового мира втекают ручьи его знаний; и вызывают живейшие диспуты о характере универсалий, вплетаяся в логику, метафизику, психологию, биологию, двигая мыслью искусства; платоновы импульсы — созерцание ставшего; Аристотелевы, — динамизм, с т а н о в л е н ь е, к и п е н ь е; Платон — о с т а н а в л и в а е т, п р и к о в ы в а е т, п л е н я е т, к а к с о н, н а м е к а ю щ и й н а к а к у ю т о п р о ш л у ю б ы л ь; Аристотель — т о л к а е т, о т т а л к и в а е т, о с в о б о ж д а е т, р а с к о в ы в а е т; и, п р о б у ж д а я о т с п а б ы л ы х п р а в д, з а с т а в л я е т и с к а т ь п р а в д у б у д у щ и х б ы л е й; ученье его импульсирует наше сознание; он сам импульсирует действия мирового размаха, воспитывая... Александра, летящего ураганом по миру; и то, что поучая прогуливается; что ему приписана тысяча книг, что он пишет

учебники, восстанавливает субстанциональную связь между миром явлений и миром идей, прерванную Платоном, и оттого согревает явление конкретным к нему отношением — опытом, наблюдением: все характерно в нем; движение есть для него воплощение возможностей; и возможности мыслить прорезываются чрез изучение Аристотелевой науки; источник движения — деятельность чистой мысли его.

Аристотель продолжился в Феофрасте, Евдеме, Клеархе, Аристоксене, Страмоне, Ликоне и прочих перипатетиках, расширявших науку, искусства, риторику, отдававшихся кипучему действию; и позднее, когда эклектизм засорял струи мысли 4-го, 5-го, 6-го века, перипатетики менее поддались его искусу в силу активности зерен, заложенных в них.

В первом веке и во втором (новой эры) встречаемся с ними (Адраст, Сосиген, Социон, Аристокл, Александр); Аристотель вливается частью в позднейших платоников.

В пятом веке они процветают в Эдессе, в шестом — у сирийских монофизитов; в IX — они выделяют ученого логика Пселла, Иоанна Итала и Михаила Эфесскаго; до четырнадцатого столетия Аристотель вплетен в мысли греков.

Со времени династии Абасидов (восьмое столетие) появляется он у арабов.

Проникает из Сирии, где традиции его мысли питаемы в христианских кружках; множатся переводы; процветает багдадская школа, и Аристотель — в Испании; аристотелики: Аль-Кенди (из Басры), Аль-Фараби (X в.), ученейший Авицена; у него мы встречаем опять модуляции universalia (ante rem, in re и post rem); средь испанских аристотеликов выдвигается Аверроэс (Кордова) (1126—1198).

Аристотелики из евреев: Саадиа Файюми и автор системы оврейской морали Бехай; аристотелики — Іуда Галеви (1080—1150) и знаменитейший Моисей Моймонид (1135—1204); он струится по жилам у всей маймонидовой школы; в пятнадцатом веке аристотелики — Альбо, Бибаго, Абраванель и другие.

Чрез Аристотеля ритмы космических знаний осаживаются в закономерцости мировоззрения, расцветающего позднее наукою о природе.

Воспоминание о космическом знании нас выводит из нас; происхождение из текучих стихий — философия физиков — память о давнем: рисует она эволюцию знаний; течение мысли оплотневало в понятиях; и из текучего знания произошло не текучее: в элеатах мы видим начатки его.

Философия — хроника, передающая эволюцию жизни; и говорит Рудольф Штейнер: «Люди прежнего времени не отделяют еще собственное переживание души от переживаний природы. Они не противополагают себя, как собственное существо, природе... То, что человек... воспринимает, приблизительно высказываемо так: «Нечто блистает, гремит, проливается дождем, двигает моею рукою, заставляет меня ходить, движет вдыхаемым воздухом, изменяет мою голову»[1]).

Воспоминания — мифы: — еще неокрепшая оболочка на ритме вселенной, а образность — переход; космической мыслью изваяна, вылита мифология, запечатляяся в мраморе. Кристаллизуется мир искусств; кристаллизуется мир познаний; под тем и другим — Дионис; образование мира природы по образу и подобию мира искусств есть дальнейшая стадия; образование мира абстрактных понятий из мира познаний — одновременно; история Греции образована историей греческой мысли.

Философия физиков воспевает познание, как стихию текучего; здесь знак равенства ставится меж душой и стихией; у нас понимание друг друга: одним надышались мы воздухом или... душой; в философии элеатов — уже разложение прежней текучей воздушно-душевной стихии: явление отвердело; стихнею не пронизано более; одушевленность разложена: в коросты переменчивых форм и в бытийственно-сущее; оно — скрыто под коростом; рассыпаются формы; пересыпаются формы песком; и атомизм возникает; а сущее — неподвижно; в дальнейшем оно прорастает в познании, как понятие о единстве (утрачено Гераклитово восприятие этого единства, как ритма); и оно скоро колется в множество неподвижных понятий; пересып из понятий, недвижных в себе, есть учение о силлогизме; силлогизмы в истории мысли распались; и разло-

[1]) Rätz. d. Ph., I Band, стр. 31.

жил их опять-таки Кант на научные формы, дробящие образ явлений, их мать.

В результате дробления возникли несущие атомы, лопнули в бездну вселенной; и сквозь атомную пыль проступил макрокосм; физик Умов приветствует наступление эры: макрокосмической физики; физик Лодж населяет ее нематериальною жизнью, а математик Бугаев рисует свое представление о мире в согласии со Штейнером: мир есть общество, иерархия духов.

Появление макрокосма в развеянном микрокосмическом мире есть знак: круг недавнего знания изжит; и новое знание опускается к нам; макрокосм, к нам спустившийся, не обычная эмпирия; он есть эмпирей, иль страна существа, обитающего под коростом понятийной мысли, где нет ни материи, ни мысли, ни мира в ветшающем смысле; испуганы: прорези нового знания входят огненным испытанием; знак макрокосма встречает, как Фаустов нового века, в трагедии, до которой мы — Вагнеры, пережевывающие науку; перипетии философа Фауста открываются в первой сцене уже (медитация над макрокосмическим знаком; макрокосмический дух говорит о себе:

In Lebens Fluten,
Im Tatensturm,
Wall' ich auf und ab,
Wehe hin und her,
Geburt und Grab
Ein ewiges Meer.

Фауст — в ужасе: испытание мыслью!... (А испытание чувством и волей приходит позднее); не духа земли видит: гада (как видит его посвящаемый в испытание мыслью Иогани из мистерии-драмы «У врат посвящения»[1]):

Мне дикий гад мерещится,
В усладах страстных вставший, —
И ясно ощущаю,
Как мглистый образ морока
Чудовищный мой лик
До времени в своих глубинах скрыл.

То — чудовищный лик всей культуры, в которой живем: он построен по образу и подобию нашей способности мерт-

[1]) См. драму: Мистерию Штейнера: «Die Pforte der Einweihung», 2-ая сцена.

венно мыслить; вхождение в мысль есть трагедия; с нас сползает убитая оболочка понятий; и мы говорим себе:

Вокруг маячит мгла;
Во мне зияет сумрак,
Взывая мглой миров,
Звуча из бездн души.

Макрокосм проступает во всем; передвигаются всюду пороги сознания к истокам познаний, где древним хаосом запевают в нас «физики»: Анаксимандр, Гераклит; их поднятие во второй половине истекшего века подслушано Ницше.

И первое действие посвящения в новую эру культуры отчетливо начинается в нем: кризис мысли стучится; грядущие кризисы — чувства и воли — приблизились!

15.

Ницше изжил в себе мысли греческих физиков: утопал в беспредельном, сгорая в огне Гераклита; был Фениксом он; повернувшись назад сквозь огонь, он увидел старинное Зороастрово солнце; и спел о нем песню; но с ходом развития мыслей Сократа, Платона и Аристотеля был он едва ли знаком изнутри; его миссия велика: философию вывести сызнова из глубин познающего духа; перевернуть ось истории, превративши ее в биографию состояний сознаний. Наоборот: биографию вытянуть вдоль истории, подчиняя историю индивидуальному ритму; так — в новом пробеге истории, погруженной в себя, он дошел до Сократа: Сократ ему чужд, а трагедии крепнущей мысли ему кажутся мертвыми; все отличие Ницше от нас в том, что мы созерцаем пассивно историю мысли и бесконтрольно глотаем градацию положений ее; Ницше выявил мускулы до-сократической мысли; тончайшие упражнения мысли Александрии не занимали его; отцов церкви, схоластиков, мистиков не проницал он с такою-ж отчетливой ясностью, как мысли физиков; и оттого не воскликнул: «Плотин, Ориген, Августин, как здоровые, жизненно оправдали свою философию, ибо они создавали возможность теперешним логикам перелетать на абстракциях совершенно очищенной мысли по океану безобразности».

Мы должны оценить колоссальную силу мыслителей Александрии, воздвигших плотины для мысли — от океанов полумифических образов, отвердевающих и грозящих залить материки ее жизни пучиною чувства.

Если не видим пучины в себе, когда мыслим, то это — знамение, что в нашей мысли господствует воспоминание названий, ассоциацией связанных с мыслью; но имена (или — термины) не суть мысли еще.

16.

История философии, предваряющая Декарта — история крепнущего контроля над управлением мыслью; если бы современная мысль обернулась бы на свое восставание к жизни, она бы воскликнула: «Я исполнена нечеловеческой силой экстаза в моих восприемниках; я воистину в них рождалась как Бог; так меня называли они; и я в них воплощалась, как Логос; огромные храмы религии меня заключали в святое-святых; я туда изливалась для них; образами над — божественных высей; ломались все храмы на мне: они были лишь гипсовой формой; по мере того как я, мощная, прорастала из храмов, они становились опустевшими яслями; я сама о себе; никогда не гласила о «б о г е», но «б о г и» гласили не раз обо мне»...

Так сказали бы про себя укрепленные мысли, проросшие в Канта сквозь дебри мистерии непзреченных своих состояний; эти мысли из тучи экстазов рождения, упразднили экстаз.

Философии откровений, мистерии древности, лабиринты оккультных путей — лишь младенческие состояния гносеологической мысли; подножия вершин критицизма.

В древней мысли экстаз — необходимейшее условие, чтоб мысль родилась из первичного хаоса данности; в разделении двух состояний сознания (умственного от бытийного) смысл его; бытие отделилось когда то от мысли, как тело, которое отвалилося камнем от жизни души; мысль исходит у грека из тела (главы его) вооруженной Палладой; летает вне тела; грек мыслит вне тела; и видит он тело свое, —

Как существо чужое вне себя,
И — от себя далеко.

«В ы х о ж д е н и е и з с е б я» есть экстаз, понимаемый нефигурально: реально; фигуральный смысл слова родился потом (под черепною коробкою); мысли из нас исходили душою, как змеи, струясь вкруг главы; и у мыслителя древности превращалась глава в зашипевшую змеями голову.

Мысль исходит из тела — душою; и из души истекает, как дух; распадение на тело и душу — сперва: распадение на

миф и на мысль — лишь впоследствии; происхождение трагедии есть рассказ о рождении мысли; и борьба Аполлона с Дионисом есть мифическое отражение борьбы половинок распавшейся цельности; столкновение Диониса с «γνωθι σεαυτον» Аполлона — следующая стадия трагедии мысли; и потому то нормально сопровождение рождения мысли учениями об экстазе; для истории становления мысли необходимо понять роль экстаза; он для мысли рождаемой есть условие роста; ни гносеолог, ни мистик двадцатого века не понимают отчетливо роли экстаза в истории; для мистика он — цель в себе; для мыслителя современности — он негодное средство, а для мыслителя древности — годное.

Поговорите с хлыстом, и он скажет: в радении сознание не затемняется; наоборот: проясняется невероятно оно; и крылато возносится, отделяясь от пляски; поговорите — он скажет: во время радения вовсе не в теле сознание — над телом: неотуманено, ясно, пронзительно.

Выхождения «Я» в сферу мысли — экстаз; парадоксально сказать: гегельянство таинственно связано с темным началом радения; не было бы радений, не родился бы и Гегель.

17.

Связ экстеза и мысли — в ученье Платона; осознается экстаз в эротическом окрылении, озаряющем при поднятии к идеальному миру; из Эроса вылупляется мысль в созерцаниях сущего; в утончениях первоположенной мысли — экстаз; из тенет вылетает она на окрылениях Эроса: под ней лоно, где все еще устанавливается природа; поскольку окрепли тела, становление мысли есть действие в чувственном мире:

Она — в ударах сердца,
Она — в биенье пульса.

В мысли же вылетевшей я созерцаю вне тела, которое,

Как существо чужое вне меня
И от меня далеко.

Вылетевши, я поддержан Зевесом и развиваю стремление освободиться от эротических крылий; Платон дает правила о ч и щ е н и я у м а: в образе есть еще непобежденная чувственность; чтобы получить оправдание бытия, по Платону искусство должно подчиниться обители мысли, как средство воспитывать добродетели; опознающий идеи имеет способности к отвлеченному знанию; правила о ч и щ е н и я мысли вскрывают-

ся позднею александрийскою школой; задания философии направляются к уразумению идеи, которая у Платона еще не ясна; отправляется от Парменида он; мышление должно отличаться от представлений; об'ект чистой мысли — от прочих об'ектов (Тимей); единое существует само по себе: и оно — неизменно; идея — монада (Филеб); в диалоге «Парменид» установлено, что единство не существует без многого; в позднем периоде числами определяет идеи Платон; истинно-сущее у него динамично; согласование же динамизма и постоянства идеи — отсутствует; и позднейшая мысль, отказавшись от динамического истолкования идеи сосредоточивается на постоянстве, единстве; в результате: идеи — понятия познавания.

18.

Правила очищения ума развивает Филон; и развивает теорию сосредоточения мысли — в описании концентраций внимания на какой-нибудь бедной по содержанию мысли; от конкретного множества образов проявлений ее возвышаться к единству он учит, рекомендуя условия, благодарные для рождения абстракций; советует сосредоточивать мысли в единстве, как в точке, и отрешаться: 1) от чувственности, 2) от эмоций; 3) встать выше себя.

Правила отрешения от чувственности нас встречают у нынешних логиков, предлагающих мыслить познание 1) вне-чувственно, 2) вне-содержательно 3) — над-индивидуально; таковы — категории; правила логиков не апеллируют к праксису; и сознание их бесконтрольно приемлет, но принятие правил не есть выполнение правил.

Правила возвышают нас в сферу экстаза, который есть трезвенность; так Филон завершает экстазом; он — мистик.

У Плотина, опять таки, — правила сосредоточения на единстве самосознания, предлагающие умение отрешаться от 1) чувственности, 2) диалектически постигаемого; и все это приводит к умению внеумного созерцания Бога. Очевидно, вне-умное созерцание единством самосознания в ходе праксисов отразилось впоследствии на учении о «с у б ' е к т е»; предугаданы взгляды Декарта на связь сознания и познания («Cogito, ergo sum» и я «Я»); трансцендентальная апперцепция переживалась практически некогда; зарождалась в экстазе она; отрешение от «Я» было средством к экстазу, который, как солн-

це, сверх-чувственно вспыхивал; четырежды был испытан Порфирием он.

Правила концентрации и контроля над мыслью — реальные средства высвобождения души (в древних мифах нет ставшей мысли, ни — тела — господствует метаморфоза: тела превращаются); для того, чтобы быть в с т а в ш е й мысли нам следует выйти из с т а в ш е г о тела; и потому то отчетливо проницаемы Тертуллиановы взгляды о том, что у души есть особые органы на которых летает вне тела она.

19.

Характерны для более поздних времен поучения Климента Александрийского, как из данного представления устраняемы 1) цвет 2) тяжесть 3) плотность и наконец 4) протяженность: приходим к абстрактному центру: то чистая мысль; характерно, что об экстазе нет речи; и правила концентрации — не для экстаза: для мысли самой; здесь абстрактное знание возглавляет пути посвящения — в мысль того времени.

Вся рассудочность наших дней отлагалась когда то, в путях посвящения.

20.

В христианском сознании одно время экстаз избегался: боялись его; появляется сызнова он у Григория Нисского; появляются правила испытания мысли; и отец церкви советует удаление чувственных элементов для возвышения из т ь м ы в с в е т абстракции; но завершение знания — в устранении с в е т а: в п о к о е б о ж е с т в е н н о й т ь м ы (здесь опять-таки доминирует мистика).

У Дионисия ареопагита — отчетливый путь: сосредоточение силы ума на простейшей идее; при этом слагается путь из этапов: 1) движение п р я м о е души (от чувственности до абстракции), 2) движение строющее с п и р а л и суждений 3) движение к р у г о в о е (душа отрешается здесь, входя в храмину); вспоминается Кант: 1) отрешение от чувственных форм 2) отрешение от диалектики разума, на которой построены догматы метафизики 3) восхождение к категориальному кругу рассудочных форм (одновременно сверх-чувственных и сверхразумных); путь практический Дионисия отображен явно Кантом.

Мы имеем пример, как слагались абстрактные положения теоретической мысли в путях посвящения; испытания, иога,

контроль, проводя чрез туманы экстазов и бездны падений вычерчивали область мысли; для понимания конкретности мысли необходимо конкретно пройти ее путь.

21.

Характернее всех Августин: до него мысль с экстазами связана; у Платона экстаз только средство, а у Филона, Плотина он — цель; рационалистическое и мистическое толкование мысли сплетается прочно с экстазом; но в толковании экстаза расходятся: 1) мысль — для экстаза (Плотин) 2) вдохновение — для мысли (Платон).

В Августине отчетливо побеждает рассудочность.

Для понимания Августиновой мысли важен весь путь Августина; борения с чувственностью, увлечение Цицероном, тонкие искания ума; раздвоение — момент испытания мыслью — проходит сквозь жизнь; его жизнь — испытание; он себя самого воспринимает, как посвящаемого в познание: видит «собственное существо вне себя».

Кто на меня из мглы
Уставился глазами?
Я цепи чувствую,
Связующие нас.
Прочней, чем Прометей,
Прикованный к кавказским скалам,
Оковами прикован
К тебе. .. Чудовище, ты кто?
. . . . . .

О, я тебя узнал:
В тебе — я сам [1]).

Осознание двойственной сущности не случайно его приковало к учению Манихеев; и выступая впоследствии против учителя манихейского Фауста[2]), он выступал против более позднего Фауста, которому вложил Гёте признание, что этот Фауст содержит в себе две души; может быть оттого Августин выступает ожесточенным противником манихеев: борясь с манихейством, с собою он борется; и словами героя мистерии-драмы он может ответить себе:

[1]) Рудольф Штейнер: «У врат посвящения».
[2]) «Contra Faustum».

Познанием позор порочный мой
Сковал с тобой, позор порочный.

Отсюда потребности в «Исповеди».

Орбита развития Августина: античность, учение манихеев, Плотин и послания Павла; в его мощных признаниях — тайна тогдашнего времени, не принимаемая в расчет: невозможности отказаться от чувств, вытекающие из положения мысли, не сбросившей с себя хвост недавнего прошлого (мифологической метаморфозы); усилия стоили Августину его отказа от чувственности, так: в трактате «De musica» полагает он, что субстанция мира и есть световая материя; в героическом акте отказа от чувств путем умственных упражнений и правил контроля, осознает Августин, что духовный свет — только мысль; небытие же — материя.

Он развивает учение о трех очищениях познания, нам рисующих три этапа познания: 1) познание чувственное (чувства суть буквы духовного мира); 2) познание духовное, которое образно: есть духовная образность; и Августин героически погружается в трудную область: разоблачения чувственных образований фантазии в сфере духовной.

Наконец человека встречает редчайшее познавание, свойственное самому Божеству; на языке этом Бог обращается к духам; познавание такое — редчайшее; Августин называет его познаванием... над-духовным; и что же? Оно есть рассудочность, открываемая: 1) в достоверности диалектики; и 2) в достоверности математики. (По этому вопросу смотри исследование Попова: «Личность и учение блаженного Августина»).

Характерный пример, как экстазы, пути посвящения, трагедии жизни с невероятною трудностью в ряде столетий, чрез головы лучших, чистейших, святейших людей образовали рассудочность мысли, гуляющей в ряде брошюр, популярных трактатов, учебников логики, усвоение которых доступно любому из нас; пути древнего посвящения — улица; акт познавания ведет через кручи и бездны невероятнейших состояний сознания и жизненных пейзажей души к вознесенному, над-духовному: и становится уличным, рассудочным знанием в XIX веке.

Не происходит ли тут подтасовка — то именно, что происходит с отколотым льдом горной кручи в долине (мгновенно она превращает его в воду, в пар)?

Воспринимая кристаллы, чистейшие мысли в себя, воспринимаем не их, а туманы: и мысль в нас опять не есть мысль: испарение чувственности; отчетливость в понимании философских проблем — фатаморгана, не более.

22.

Августин — основание рационализма; новейшая философия подымает в нем голос; выдвигаясь тезисом «я знаю, что я живу», он подходит к Декарту уже; утончения схоластической смысли в нем есть; Бонавентура, Дунс Скотт перекликаются с ним; Алкуин[1]) — начинатель схоластики — примыкает к нему.

В одиннадцатом столетии два течения мысли (рационализм, мистицизм) противопоставлены; все усилия сосредоточены, чтобы выявить, определить, раз'яснить род познания, названного Августином интеллектуальным — в одном направлении; и язык, на котором, по мнению Августина, глаголет Господь с иерархиями, через сравнительно короткое время становится органом ученейших диспутов о характере универсалий; обосновывается на нем номинализм Росцеллина, перекидываясь в четырнадцатое столетие и расцветая в Оккаме; и реализм, начинаясь в Эригене[2]), продолжается в Ансельме Кентерберийском, в Вильгельме из Шампо, и прочих; промежуточное направление занимает учение Абеляра; догматик Иоанн Салисберийский[3]) провозглашает: непререкаемость разума (понимания разума в это время рассудочны).

Так абстрактная мысль прорабатывает обыденную мысль; но основы ее — только в и о г е к о н т р о л я, в пути посещения, в выхождении из себя; и — в экстазах; не следует забывать, что абстрактная мысль нам рисуется не в н е-экстазной, а н а д-экстазною деятельностью.

23.

Таковою нам мысль выявляется в Гегеле; во второй части «Логики», характеризуя понятие, Гегель высказывает, что

---

[1]) В 781 году был призван Карлом Великим быть директором в «Schola palatina».

[2]) Центр деятельности падает на 843—883 года.

[3]) Stöckl, Geschichte der Philosophie des Mittelalters. Mainz, 1865.

бытие и что сущность — моменты понятия, взятого в становлении: «Понятие же есть их основа и истина, как тожество, в которое они перешли... Оно... их результат, но... не как бытие, не как сущность». Так вопрос о понятии ставится Гегелем; царство свободы по Гегелю обнаружено в нем: «Понятие есть свободное,... сущее тожество, составляющее необходимость субстанции»... («Логика II ч.»); тожество «А=А», как его мы имеем в рассудке, членораздельно содержится в синтетическом единстве самосознания; так оно обрисовано Кантом (Я=Я); Кант возвысился над обычными пониманиями до... понятия, т. е. до «Я»; «Я мыслю» сопровождает все акты суждений, обусловливая возможность трансцендентального вывода.

Так поставлена Гегелем точка над «i» чистой мысли: она — лишь понятие; но если точка над «i» принадлежит философии XVIII и XIX столетий, то само тело «i» уже вписано Августином в историю мысли.

Мысль — стихия активности, динамизма, усилий; попытка раскрыть динамизм этой мысли, как только понятия, потерпела крушение в грандиознейшей метафизике Гегеля; правы Гегель и Кант, утверждая величие мысли; не правы, величие мысли смыкая в понятие; понятие непредставимо в движении: правоту этой истины раскрывает русло кантианства; непредставима, как статика, мысль; правоту этой истины утверждает русло гегелианства; утверждая динамику мысли, рисует ее гегелианство в абстрактных понятиях; но такая динамика (диалектика) разоблачаема Кантом; и утверждая статизм категориального мира в своей аналитике, Кант подменяет текучую мысль нетекучей.

Мысль — динамична: и потому то она не смыкаема кругом понятий.

Отвлеченная форма (понятие) — точка, оканчивающая красноречивую фразу; и брать эту точку вне фразы — бессмысленно; это значит: читать гениальный роман, пропуская все фразы романа и отмечая лишь знак препинания; история философии, взятая в системах понятий, уподобляема множеству препинательных знаков «Макбета» без текста «Макбета»; развивая себе свои мускулы мысли, мы можем прочесть Абеляра; и вне усилий пути посвящения в мысль воспринимаются Абеляровы точки (понятия); таково восприятие философ-

ской поэмы веков направлениями, черпающими свои истоки у Гегеля: материализмом, экономическим материализмом и крайне правою гегелианскою фракцией: точки, точки и точки — бессвязное чтение! Тщетное усилие вычитать там, где и нет ничего. Мы тогда говорим: «Направление Абеляра определяемо «концептуализмом», пытающимся сочетать многообразие и единство». Подобное изложение Абеляра — пустой препинательный знак.

В Кантианстве поэтому правильно утверждается: «Не имеет смысла прочитывать диалектики, ибо они — иллюзорны; но имеет смысл систематизировать препинания (категории мысли): есть — запятая, есть точка, есть знак восклицательный, есть двоеточие (категории качеств, количеств, модальностей, отношений). И мы, не желая стоять над наборами типографских значков, пропускаем чудесные строки «Макбета». Они — чистая мысль, не сводимая к точкам рассудка и пребывающая в всекипении Разума,

Разум же дионисичен извечно.

Перед собою имея образчики непонимания Разума (в Гегеле, в Канте, в Декарте, в Спинозе и в Лейбнице), Ницше естественно соблазнился историко-философской рутиной: дионисичности мысли не видел; дионисичности мысли Сократа, Филона, Плотина, схоластиков, Аристотеля, Гегеля — не угадал под оболочкой рассудочных коростов, их облепивших; и — да: мысль — стихия Диониса; дионисично прыгучее «Klares Denken», к которому зовет Рудольф Штейнер; оно есть второй Дионис, воскрешенный, восставший из первого Диониса, растерзанного Менадами.

Разум есть Дионис: ожидаем второе пришествие именно этого Диониса!

Отрицание рассудочности — живой пламенник мистики; отрицание сверх-разумности — пламенник в абеляровой мысли; Абеляр утверждает: все надо исследовать, а потом уже верить; он — прав: «Klares Denken» — во всем. Что же есть «Klares Denken»?

24.

Вот процессы его: впечатление первых мыслей, блистающих мне, точно записи: наростающих пульсов; они образуют: потоки, рои; в образованиях встает что бы ни было; образо-

вание располагается строями около одного сверлящего центра моих концентраций; и от него разлетаются звездочки образования потоков понятий; и обдают мне сознание огневым колесом перелетающих искр; если бы остановить эти искры — из каждой росло бы понятие, как из зерна мощный колос (в обычном сознании искры — недвижные точки мертвеющих препинательных точек; в состоянии сознания мысли — из каждой бежит колос-фраза, протягиваясь от точки до точки); и безболезненно гонится смысл ясной искры, понятия, метаморфозами красноречивого блеска, где точка, понятие, множится многим смыслом и где об'яснение есть возжение умножаемых блесков —

— окрестность свистит и шипит огневыми колесами; и заплавясь, душа протекает колесами блеска в колеса из блеска; в это время я чувствую: переливается все из головы в многокрылое сердце, которое, зажигая пожары в руках, выбивает из рук как бы руки; и эти «руки из рук», описавши окружности, изливаются над головою, разбившей свои черепные покровы; и — мощною прорезью крылий (тысячесветием в тысячелетиях времени) внятно обратно влетают: в открытую чашу главы (точно голубь из неба).

В это время центр мысли во мне оплотневает, как дымами, излетающими из огня, явно зримую внутренним зрением светописью, образуя мне ризу понятий под веками (Гете зрел ее; в ней подсматривал он начало изобразительных творчеств; и мы изучая ее, открываем законы образованья орнаментов по векам и народам; орнаменты — оплотневшие светочи блеска под веками; а этот блеск — оплотневание всего того, что мы мыслим); я лечу в сотворении мысли моей сквозь светлейшую ризу к блестящему центру: он ширится, разрываясь в «глаз»: в оплотнениях рассудочной «мысли» тот глаз — «синтетическое единство самосознания» Канта; в оплотнениях «собственномысли», он образ — огромного, синего «ока» (разбитого темени черепа, через которое проступает безмерность космической мысли); он, ширясь, темнеет; и — втягивает меня, как в окно; покидаю я «образы мысли»: вступаю в безобразность мысли, которая есть проход в иной мир; и — открывается мне: «Все, везде, ничего!»

Созерцаю погасшие тени недавно горевших подобий: подобия — пусты; они только окна в «небывшее никогда» чистой

мысли; на мелодийных размахах, в стране «в с е—в е з д е—н и ч е г о» я летаю по ритмам и образуюсь в живую гирлянду из «в с е— в е з д е— н и ч е г о» оглашающих митов; я чувствую в теле, — как будто летающее многокружие, вне меня размыкаясь, исходит из тела; переживается оно во мне, точно диск на двулучие, улетающий от меня надо мной, чтоб качаться крылами в темнеющем воздухе; чувствую себя в хрупком круге земли; кто то Вечный стоит и глядится из мысли: зовет, чтобы и мне с Ним уйти — в непреложную Древность; и до ужаса узнанным ликом говорит мне без слов:

— Вспомни же: это — «Я»!

И возвращаясь в обычное состояние сознания, знаю по опыту я, что стоящее посередине мыслительной сферы есть Разум, а летание многокружий вокруг — нерархия мысле-существ, из которых каждое разряжается в низшей сфере (но высшей по отношенью к рассудку) каскадами искр — закипевших понятий; и я утверждаю, как узнанный, узнаваемый факт:—

— преображенье усилием мысли понятий есть собственно чтенье: не нашей вселенной, живущей во мне, точно «п а м я т ь о п а м я т и»; она — ритм; она мысль; она — музыка сферы: страны, где я жил до рождения; теория припоминаний Платона верна: и она — описуемый факт.

Прикосновение к «ясной мысли» есть факт, описующий выхождение из себя в страну светочей; приподымаясь туда, из себя выходил; оттого то обычное мышление, которым владею, как техникой я, — потеряло осмысленность. Видел я внятно кипенье понятий; и — утверждаю: мне — явственно: «я с н о е м ы ш л е н и е» — не переходы понятий друг в друга по мостикам силлогизмов, а клокотание огневеющих водометов, где капли — понятия; в непрестанном кипении, в преломлении смыслов они, поднимающем радугу нового мира; его нет в одной капле; но в танце понятий — есть он: в танце слов; в смысле, в слове, как в капле — нет радуги; наши смыслы суть буквы и точки: мы их не слагаем в слова; наоборот — разлагаем; и приводим симфонию образов «Макбета» к тем же знакам алфавита.

25.

Вот что есть «Klares Denken», которое Ницше отождествил с «с и н к р е т и з м о м», и не узнал Диониса в нем именно; оттого и был распят он тою же самою мыслью, которая бы могла

вознести его в страны «Феорий» Плотина; но из мысли из'ял Ницше жизнь, о которой сказал он то самое, что он мог говорить бы о мысли: «Если я когда-либо простирал над собой тихие небеса и на собственных крыльях влетал в собственные небеса; если я, играя, плавал в глубоких и световых далях, и приходила птица — мудрость моей свободы, — но так говорит птица-мудрость: «Знай, нет ни верха, ни низа! Бросайся во все стороны, вперед, назад... — Не все ль слова сделаны для тяжелых?» Ницше вылетел не туда, и не так: его распяли мысли; в нем жил Дионис распинаемый; мог бы ожить Дионис воскрешенный, знай он страну мысли.

Всекипение мысли осозналось в нем рассудочно; и такое рассудочное осознание оклеветало ему существо всекипений в сражающей мысли о «вечном возврате».

То был поворот Заратустры на тень Заратустры; она нашептала ему: «Не высоты пугают, а склоны»; позабыл что он сам же сказал: «Нет ни верха, ни низа!.. Бросайся вперед и назад». Тень повылезла в образе и подобии Нибелунга. «Заратустра» шушукал, он «бросил высоко ты сам себя в воздух, но всякий брошенный камень — должен упасть» (Заратустра). И упадающий камень сознания Ницше, убивший его, есть теория «вечного возвращения».

Философия «Бхагават-Гиты» преодолела задолго до Ницше опасности Ницше: И «всекипенье» бытийственных недр она вывела из сознания Кришны, который есть «Я»: Я — Вишну... Я леснопение; из светозарных Я — Индра; Я — Манас, из всех живых существ Я — Сознание (Бхагават-Гита, беседа 10-ая). Какова же картина сознания Кришны? Она — всекипение: «Молвив это... явил Арджун свою высочайшую форму... с бесчисленными устами и очами, во многих чудесных явлениях... всечудесный, с обращенным всюду ликом»...

Это — Кришна: —

— Тогда Арджуна, потрясенный изумлением, с волосами, вставшими дыбом, склонил голову... и, сложив руки, заговорил:

«Внутри Твоей формы... я вижу богов, все виды существ и каждый с отличием своим... Как радуга, переливаясь... цветами, касаешься Ты... небес..., вращая необ'ятные зрачки... Твоя внешняя жизнь ужасает меня»...

— «Благословенный молвил: —

— «Эту форму мою, на которую ты взирал, очень трудно перенести»... (Бх.-Гита, бес. 11-ая).

Ницше не вынес.

26.

В одиннадцатом и двенадцатом веке отчетливо намечается мистика.

Характерны нам учения мистиков возглавляемых Бернардом Клервосским (1091—1153), противником Абеляра; рисуются все двенадцать ступеней смирения, «умное созерцание», восхищение, экстаз.

То же учит Гуго из С. Виктора; различает стадии познавания: cogitatio, meditatio, contemplatio; в «contemplatio» освобождаемся от — «как», «что», «почему»: и в экстазе парим.

А Ришар развивает уже шестичленную лестницу знаний; в вершине ее угашается сознавание: индивидуальность выходит из тела.

«Мысль есть средство экстаза», провозглашают чистейшие мистики; философия мысли провозглашает обратное; проповедь углубленного самосознания — здесь и там; переплетаются в ней обе школы.

27.

Невероятность, сшибающая нас с ног, даже не мысль в нашем смысле, а проницание всем существом: —

— «я есмь я» —

— удивлению нашему нет пределов. И тотчас же забываем узнание — до момента, когда потрясаемся вновь: —

— «я есмь я», —

— а не «Ты», «Он», или какое нибудь предметное «нечто».

Воспоминание доносит отчетливо мысль о факте, свидетелем которого были; тут раздвоены мы: нечто движется в нас, как процесс, а нечто стоит над процессом: и — наблюдает: и — помнит; то — «я»; в оболочке из мыслей оно; самопознанье есть «это»; опознаем тут себя, как процесс вне себя.

В очень редком узнании («я есмь я») происходит не то: самосознание погрузилось в процесс; стало им, проницая себя; переживающие потоки взлетели до «я», не прекращая движе-

ний; и «я», обнимая их, проницает со множества пунктов, которые тоже суть я: «я-я-я-я-я-я» звучит с севера, с юга, с востока и с запада сферы — многоочитой и созерцающей центр: центр — процесс, многообразие моментов процесса, вдруг — точка; единства; единое «я» — вдруг как множество множеств; перемещение многообразия и единства в нас — чувственный образ; и он лишь намек на происшествие, заключенное в утверждении: —

— «я есмь я» —

— равнозначное двум другим утверждением: «Мир есть я», «я есмь мир». Такова интуиция.

Она — непосредственна; одновременно — мыслительна; множественность и единство в ней слиты: описание этого редкого факта сознания — совершенно отчетливо в философии Э н н е а д; утонченные рассуждения Плотина об интуиции, как ни странно сказать, есть попытка описывать факт сознавания; праксис пути до этого состояния сознания — условия опыта, который могли бы произвести все анти-плотинисты; с Плотином пытаются спорить: опровергать, соглашаться; Плотин — эмпиричен; и эмпиричны великие философемы истории; все они — только факты; теории их систематика наблюдений и опытов, произведенных в стране нашей мысли; теперь не умеют гоняться за «сернами» и «дикими козами» мысли, встречающимися на горах обобщений ее; обобщенья — подножия индивидуальных конкретностей мысли.

Удивляюсь я, то не ясно историкам философии, систематикам и комментаторам плотиновой мысли: р и с у е м ы е е й г о р и з о н т ы — ф а к т и ч е с к и е л а н д ш а ф т ы; можно спорить о красках, о методе зарисования факта, но не о факте самом: факт есть факт; и интуиция Плотинова есть: она — первая мысль страны мысли.

«П е р в о е» этой мысли заключено уж в узнании: —

«я есмь я».

28.

По сравнению с этим острым моментом узнания «я» все обычные «я» предстают как не «я» и, превращаясь в сопровождение утверждений (пошел, встал, сказал), обычное «я» — теневое сопровождение чувственного процесса, происходя-

щего в нервной организации, которая только кишенье червей в нашем мясе; слепительный голубь зареял над нами, отбросивши в голове у нас тень: злого, черного ворона, обреченного скоро погибнуть: в попытках его окопкретить он — множество сопровождений («я» взял, «я» сказал): «я-я-я-я-я-я» — бесконечности «я» (или нервы).

Попытками конкретизировать «я» размножаем одних двойников; их ватаги кричат; суждена гибель им.

Две проблемы рисуются мне, истекающими из проблемы самопознания нашего: проблема познания и проблема сознания (в само-познании — познание с сознанием слито: самопознание — интуитивно); и обе проблемы в истории разрешились неправильно; в первой мы пытаемся очертить области всеединого «я», и оно — всеединое «я», превращается в трансцендентальную апперцепцию гносеологии, в Фихтево абсолютное «я», и в Декартово Cogito; вторая проблема вела не к осознанию сущего «я», а к утрате и гибели ложного «я» в некой бездне без'ячных безмыслий. Бог всех мистиков — непознаваемый «Бог»: он не может быть Богом.

Мистика знаменует катастрофу: в ней — начало пути посвящения в мысль; она — средство: как таковое, не может стать целью она.

29.

Внутренняя диалектика восставания мистицизма — тонка. «Человек, опознай себя». Как себя опознать? Без развития мускулов мысли не пережить интуиции; интуиция подменяется образом, кажется: —

— Я — не «я»; меня — нет;

«я» — граница скользящего мимо; все скользит; представленья о «я» ускользают.

Меня меняет бег дневных часов...
В громах — раскатываюсь;
И мерцаю — в молньях...
. . . . . погаснувшим
Я чувствую в себе себя [1]....

---

[1]) «У врат посвящения».

Если я отвернусь от мельканий меня самого, как пределов предметов, — пределов не будет; не будет вещей; будет — путь беспредметности; в образе и подобии глубины, разверзающей дно бытия, он предстанет:

Мне одиночество глухое
Вернуло самого себя
Лишь для того, чтоб ужасать
Со дна души встающей бездной [1]).

При усилии разглядеть это дно видишь ты, как все вещи обставшего мира слетают в бездонный колодезь: но бездонность мерещится дном — отражающим зеркало от мира; видишь ты: себя самого, наклоненного над колодцем; и — небо, и — солнце, и — тучи над ним; в сопровожденье предметов появишься снова; в образованном внутреннем мире увидишь покинутый мир; переместился тот мир внутрь тебя; существо его неизменно; и «я» — возникает:

И тот же сон, и та же ночь,
И тот же бег летящих дней:
Не превозмочь, не превозмочь:
«О ночь, покрой кольцом теней!».

В одиночестве углублений встает внутри «я» тот же мир:

Я утопал в людских сердцах, которые себя
Передо мной в словах разоблачали,
То погружаясь в тишь монастыря,
То погружаясь в сказки
Фелиции.
Я — каждым был.
Лишь для себя я умер [2]).

Тут вскрывается эмпирически почва построить теорию логики о единстве самосознания, как формы явлений; оно — плод познания углубляющей мускулы мысли.

Но «м и с т и ч е с к и» развиваются лишь этапы пути углубления: —

---

[1]) Ibid.
[2]) Ibid.

— в них сначала «я», данное мне, упражнением превращается из предела — в преддверие;

Чтоб ужасать
Со дна души встающей бездной [1]).

В следующий момент отражает мне эта бездна; и снова она есть поверхность; законы поверхности овладевают — внутри «мира бездны»; «внутри бездны» рву я поверхности бездны, и — разверзается точно такая же бездна; она, так сказать, бездна бездны; но в ней появляется тотчас поверхность; так я прохожу бесконечность этапов преодоления «не сущего» «я»; этих «я» — бесконечности; и — бесконечности бездн поглощают меня.

Законы дурной бесконечности (лестниц бездн, лестниц «Я») подстерегают внутри мистицизма; подлинного самопознания мистика не дает; в ней — экстаз разрывания «я»; и в ней нет откровения «я»; «я» всплывает, как пробка, к поверхности, чтобы стать лишь логическим «я». У мистики нет «я» мистики; ее «я» есть «суб'ект».

А процесс бесконечного углубления (по существу же фиктивного) распадается; бесконечны разрывы в нем «я»; бесконечны создания «я»; бесконечен мистический опыт; законы его в философиях мистики однородны; сливаясь друг с другом, они создают лишь закон, выражаемый совершенно абстрактно в разнообразных системах: закон разрывания «я» — погружения в бездну его (называем ли бездной мы «Бога, иль мир — все равно); слияние с Богом есть проповедь европейского мистицизма; слияние с миром — индусского.

Сила мистики — в отрицании, во взрыве, в разрыве; она — динамит; увенчая систему пути познаваний, познание топит она; она — знание о незнании нашем.

В ней «я» есть «не — я».

30.

Практика мистика в перечисленье этапов пути и в подсчете разрывов; подобно тому, как геолог, встречая какой-либо пласт, может просто назвать подстилающие этот пласт земляные породы, так опытный мистик предсказывает путешествия в странах опыта мистики (но эти страны рисуют в

[1]) Ibid.

своей совокупности — круг, из которого выхода нет); и трагедия мистики в диалектике переживаний: —

— переживание «в» — глубже «а»; переживание «с» — глубже «в»; переживание «d» — глубже «а»; но — круг замкнут; и — далее настушает: переживание «а» — глубже «d»; но — переживание «d» вместе с тем глубже «а», следовательно: «а» одновременно поверхностнее и глубже; то же с «в», то же с «с»; переживания «а», «в», «с» и «d» — ни поверхностнее, ни глубже друг друга: друг другу равны —

— вот «т а й н о е» мистики.

«В е ч н о е в о з в р а щ е н и е» подстерегает нас в мистике: «Я» поглащается Божией бездной, чтобы из бездны по образу и подобию бездны излиться творением мира, который опять изольется в меня; философия суб'ективного идеализма — тень мистики на познании нашем; и на познании мистика — тень философии суб'ективного идеализма: раз это осознано, «скепсис» сражает

31.

Тем не менее есть у мистики сила, которой не ведает идеализм наших дней: рассказ о мистических путешествиях будет казаться философу суб'ективнейшей сказкою: суб'ективнивация суб'ективного в нем раскроется в живописаниях мистических странствий; и это все оттого, что опыта поглядеть на себя у философа нет: самопознание у последнего растворено лишь в познании (самопознание превращается в осознание себя, как не-сущего — в мистике); у философа нет совершенно реального знания «бездн», подстилающих «Я»; эти бездны не суть суб'ективные бездны; «с у б' е к т и в н о с т ь» рождается лишь в момент поворота от состояний познания к состояньям сознания; но по мере того, как мы явственно углубляемся в мир сознаваний — пейзажи бездонного мира его проступают нам явственно; и в описаниях пейзажей старинные мистики — копировщики им открытой природы; не хватает им средств разоблачить ту природу критически; подлинно ведают наблюдаемые законы деталей открытого мира они, но не восходят до верного знания ритма сложенья законов; в этом смысле мистический путь, оставаясь бесплодным в конечном итоге, весьма плодотворен в нарисовании деталей пу-

тей, кажущихся беспутными; путь мистический вытравляет в душе суб'ективности универсального, общего знания; но идущий «путем» удивляет «б е с п у т н и к о в» философии суб'ективностью своих выявлений: он знает закономерности «суб'ективного»; машинист, перевозящий от станции к станции нас, зачастую не знает конечных этапов движения поезда; но этапы до станции им изучены верно (потом паровоз заменяют другим).

В мистике — половина пути; в философии отражена половина другая; но цельности нет здесь и там.

В мысли «собственно» — цельность; «м ы с л и» не знают ни мистики, ни философы современности.

Поэтому они удивляют друг друга не только «неправдами», но удивляют друг друга и «правдами»; так: философ цитирует мистика в подтверждении своих чисто логических выводов; а мистик цитирует гносеологические мысли, как «путь»: «трансцендентальная апперцепция» Канта у мистика появляется, как второе «Я» мистика; и второе «Я» мистика разоблачается «над-индивидуальным суб'ектом».

Оппозиция философии мистике превращается часто в взаимный союз; здесь имеет место, народная поговорка: «Милые бранятся — лишь тешатся». И вот Риккерт считает себя выявляющим сущности «плотиновой» философии, советуя пережить над-индивидуальный характер суб'екта; а мистика символизма себя обосновывает на идеологии немецких мыслителей (и Маллармэ идет к Фихте и Гегелю, как... в Каноссу).

32.

Мистика — уязвляема мистикой: ее слабое место явится т е о р и е й м и с т и к и. В наростании нам доступных этапов — прогресс; но и — распады: на мистику описательную и на теорию мистики; первая описует явления внутренней жизни (таковы описания Сведенборга различных явлений «любви» например; таковы описания «качеств» у Якова Беме); здесь вскрываются явственно «приключения странные» внутренней жизни.

Теоретический мистицизм начинает с рисовки «иллюзий» пути; и приходит ко вскрытию основного закона «иллюзий»; уже у Экхарта есть элементы теоретической мистики; они есть у Рэйсбрука; но «м и с т и ч е с к и й к р и т и ц и з м» развивается лишь с особою мощью в «Веданте», в буддизме; и пере-

ходит естественно в «логику психологии мистики»; эта «логика» расширяет безмерно те скобки, в которые заключает она мир иллюзий пути; и под конец в этих скобках пред нами — вся «мистика собственно»; диалектика теории мистики увлекает ее на стези бичевания всяческого «психологизма»; и она незаметно на этих стезях переходит в одну из теорий познания, обыкновенно зависимых от теории знания вообще; пример: эволюция линии теоретической мистики — «Веданта» есть теория мистики вообще; философия самой Веданты есть Шопенгауэр, а зависимость Шопенгауэра от логики Канта — ясна.

33.

Мистика в этом виде не путь, а — скелет пути жизни; и, как всякий скелет, отвлечена она от действительных мускулов организма пути; между тем: в теоретической мистике разоблачается марево всякого окончания пути; он здесь — колесо перевоплощений, где 25-ая стадия созерцания разоблачаема 26-ой, а последняя — 27-ой; и так далее, далее: скачка с препятствиями!

Процесс созидания мистических ценностей, взлетающих, как Феникс из сожженного пепла, кончается... пеплом (и новая ценность сгорает, как старая); и — «вечное возвращение» (колесо!) настигает повсюду.

34.

Отлетая от бренных предметов не сущего мира, установляю законы мелькания мигов во мне; в эти миги влетают предметы; и — разрываясь в них, рвут; периферия — разорвана; центр — углублен; винт воронки Мальстрёма есть «я»; порождает во мне он иллюзии будущего; новое «я» — винт Мальстрёма — мне кажется настигающим. Впереди — катастрофа, к которой спешу: мое новое «я» набегает оттуда, как... сверх-человек; мистика теоретически обрывает тот образ; иллюзия он.

И обратно: внедряясь в мельканье предметов, установляю законы мельканья вещей вне меня; сочиняю в таком положении генеалогию я; эволюция мира проходит из... прошлого; но это прошлое — «я»; и оно — сочиненный предмет, порождающий цепи предметов; рождение из истории — форма явле-

ния «я» предо мной, как предмета; оно — только тело предмета; и тело то гад:

Мне дикий гад мерещится,
В усладах страстных вставший.

То — дракон; он стремится пожрать лик младенца, летящего на меня из грядущего; два «я» — встретились ныне: гад встретился с ангелом; и каждое «я» говорит «я» другому:

Я — цепи чувствую,
Связующие нас.

Оба «я» — в цепях рока; в теоретической мистике оба задушены; нет в ней ни «я», ни двух «я»: есть — закон «к о л е с а», есть — «б е з' я ч н ы е» цепи; и, вырываясь из них, то мне кажется, что меня пожирает прошедшее: р о д и н а — в р о д е; то кажется мне: катастрофа, грядущая на меня, разбивает меня; в первом случае нет еще «я»; во втором — оно было когда-то; но — минуло; мое «я» — пограничная линия бездн: бездны верхней и нижней; но если я — только линия в безднах пространства души, то и нет его вовсе: две бездны сливаются — в бездну; и — погружение в бездну венчает все мистики.

35.

Таковы ее корни: безрелигиозны, безмысленны и вне-личны они; как бы их глубоко ни упрятать, рассыпавши сверху ковры из путей или мыслей (в одном случае мистика имитирует духоведение, а в другом — философию), они явно вскрываются в многообразиях «т е о с о ф и й», как скоро стирается в них человечное: конкретное «я»; уподобляемся в мистике мы спортсмэну, севшему на деревянную лошадь.

Ницше был тут последним спортсмэном на старте, переменивши термины традиционнейшей мистики на иные обратные; что же? Какими бы ни прикрыл он попонами костяки Россинанда, они его — сбросили: Россинанд залягался идеей в о з в р а т а; и ею был сброшен в безумие «мистик» последнего времени, и потому после Ницше «г л у б и н н и к а м», по падению в новооткрытую им глубину вечной мистики, скажем: «Нет»! Одновременно должны сказать «нет» реформаторам» традиционного вида религий, имеющих тот же костяк, что и мистика; выражение лиц религиозных новаторов разнообразно

и мило; костяк этих лиц — череп смерти; философия мистики и религий, когда утверждает она, есть «бум-бум», разоблачаемый «со времени Николая Кузанского; концепция «негативизма» для всех теологий еще вскрыта им.

Допусти «Бога» я и обоснуй его в мистике, начинается: бесконечность богорождений; весь фейерверк исторических «мифологий» задействует в спрессованном виде: во мне; уподобляюсь «я» римской свече; поджигаемый мистикой (вспышкой экстаза), периодически разрываюсь я: «Трах-трах-трах»! И взлетают над мраком спустившейся ночи незнания — звезды: звезда — золотая, зеленая, красная... «Трах!» — Заратустра! «Трах-трах!»

— Тот-Гермес, Дионис! «Трах» — и звезды погасли; и ночи меня обнимают.

Не отрицаю я Бога нисколько: Но «бога» от мистики я отрицаю; он — это «Я»!

36.

Мистика лишь преддверье к духовной науке; или — ров, скружающий ею воздвигнутый храм; а «религии» в мифологическом, генетическом, историческом виде — цветы, покрывающие бездну ночи под ними; подходя ныне к храму познания, будем мы помнить, что развивая конкретное представление обо всем, догматически принятом нами, попадаем в условия мы, где легко оступиться, упасть; и — свернуть себе шею; не должны мы пленяться зовущими голосами видений, безглавыми крыльями многообразной экстазности и нарисованными панорамами современных философем; убегая за «голосом», убегаем от мест, где он подлинно раздается; улетая на крыльях — в ничто, повисаем в бездвижности; и принимая систему «путем», отправляемся мы путешествовать по двухмерной картине на стенке; по ней путешествовать могут лишь мухи, пожалуй, — не люди.

Ныне крик искушающей пустоты раздается отчетливо; но этот крик — покрывало на голосе; голос же нудит:

— «Познай себя»!

37.

Правда, абстракция, может гордо сказать: «Я стою на огромнейшей теоретической выси: и подо мною — экстазы, пути посвящения, мистики, как ступени ко мне, это я — ледя-

ная вершина; действительно: неспособны понять мы абстрактную мысль без пути «становлений» ее, а пути «становлений» — пути посвящений; для пониманья абстракции лестница этих путей (от Фалеса до Когена) пробегаема нами; без пробегов ее, без контроля, без правил путей — ледяная вершина познаний лежит опрокинута в яме — поверхности отражающей лужей (в долине ледник превращается в воду и в пар); и потому то не можем мы правильно отвергать мысль Декарта иль Канта, не разглядев в ней всю лестницу ступеней и путей «становления» ее по векам: многострадальные святые от мысли — Бонавентуры, Оккамы — гласят мыслью Канта.

Мы вдвойне неспособны отвергать мысль Канта, не пережив углубление в глубину сущей бездны, не пережив в себе «мистику», не пережив в себе подлинного отверженья ее, не пережив всех восторгов сжигающей стужи «абстракций»; и оттого то падение этого царя: — царей жизни — абстракции — пробуждает в нас ужас.

И он — первое посвящение в «путь», современности: на нем погиб Ницше, отвергнувший «гносеологию» и отвергнувший мистику.

В кризисе современной нам мысли впервые нащупываются катаклизмы культуры: мир — рушится; под обломками мира трещит, разрываясь, Россия; и — бытие наших душ; отрываются наши тела, как скорлупки, в огне пулеметов.

Треснула мысль, определившая бытие, и бытие — развалилось; живым динамитом сознания разорвались стены дома, в котором мы жили.

В настоящее время все знают: опасно ребенку подкидывать бомбу как мячик; не знают, что этою бомбою каждый играет; и «бомбою» самой опасной: «абстракции» — оболочки от бомб; в динамитном разрыве абстракций отчетливо рвутся какие угодно пространства, какие угодно столетия; выскажи я сегодня в газете свое состояние сознания, завтра, быть может, взорвется сознание неизвестного американца; через тысячу лет, если мысль моя сохранится, взорвется сознание нерожденных еще. Мысли — бомбы.

38.

Кант хочет труднейшего: требует, чтобы поняли:

— эмпирическое и рациональное («опыт» и метафизика «духа») — подножия над-рационального; одновременно: над-

опытного; все «духовное» познавание Августина (миры образов) — просто «чувственность»; Кантом критически чувственность вскрыта; и «Бога» в ней нет; все духовное познавание Августина покоится на схематизме понятий; способность воображать — внутри акта познания (часть его); и «над-духовная» сфера — критически вскрыта; одна половина ее — «диалектика» — обусловлена механизмом понятий, достоверность познания — в математических и физических истинах: в аксиомах, законах; и люди, и «боги» — положены Кантом в рассудок; методология школы Когена вскрывает все это.

Остатки анализа Канта (нумены, вещь для себя) — пограничные понятия познавания; в школе Канта они уничтожены; самая «данность» чего бы то ни было — категория (Риккерт); «категория» после великолепных анализов Гуссерля — в мысли, которая заключает в себе все, что есть; но заключающее все, что есть, — интуиция; сфера же интуитивного мышления — познанию запредельна; познание в Кантовом смысле — всегда дискурсивно, т. е. лежит внутри данности; и оттого опознать интуицию дискурсивно нельзя; ведь внутри интуиции и суб'ект и об'ект познавания; и потому то познание — «суб'ективно» в гносеологическом смысле; т. е. «суб'ектно» оно; преодоленье «суб'ектности» невозможно; «суб'ект» оформляет об'екты, а таковыми являются содержанья сознания нашего, т. е., мы, как придатки к своей философии; если бы и была философия, «суб'ективистическое» присутствие философа ее устранит.

И потому то на острие современности с небывалою остротой встал вопрос: возможна ли интуиция вне «дискурсий»? она возможна была бы, преодолей мы «суб'ектность», то есть, она невозможна без изменения состоянья сознания нашего.

Так вопрос о «сознании» снова выносится из психологии и теории знания, обособляясь в проблему новейшего гнозиса. «Самопознанье» по новому вне теории познаний, вне мистики, психологии развевает свой стяг; и нам явственно: от разрешенья проблемы самопознания, от практической возможности устранить себя, как «суб'ект», в сущности нам зависят вопросы о цели и смысле.

Две огромные ветви встречаются здесь перекрещенными: ветви мистики, психологии, религиозного творчества и эстетики с ветвью логики; мы стоим пред проблемой невероятного

синтеза; если он состоится, не рухнув в обломки эклектики, то возможно нам проницать тайну мысли.

Александрийский период, непонятный Ницше, поэтому восстает перед нами; по новому мы должны разобраться: придвинуты снова к нему; и подобно тому, как нам в Ницше открыта трагедия Греции, мы подходим к срыванью покровов над страшной трагедией Александрии.

В Александрии вставала задача неописуемой важности: выявить всеединого духа конкретно; «душевное» взятие Духа явило расщеп в стране Духа, которая оплотневала обратно в «материю» и замерзала в «понятие»; на перекладинах этого страстного креста распиналось стремление александрийца: взойти в страну Духа; александрийская тайна еще не разгадана; в ней — грядущее; и поскольку мы взор устремляем в грядущее, в нас развиваются все болезни Александрии; мы, «Фаусты» нового века, у граней культуры любуемся заревом александрийской мозаики, не понимая, что это зарево пламени, охватившее «ветхую храмину» — тело, палимое молнией Духа; уподобляемся Фаусту мы в монологе о том, что философия нас утомила; уподобляемся мы богоборцу, повещенному в безысходных пустотах с потухшею сферой в руках: сферой мысли рассудочной, ныне снимаемой с головы, как абажур, надетый на лампу: на лампе он светит, сквозя ясным пламенем: снятый, он — тускл; все высоты логических утверждений, пока восходили мы к ним, нам сквозили каким-то огнем; возошли — нет огня! Весь рассудок — сквозной абажур, пропускающий светочи Разума; с Разума снятый, он — матовое, пустое стекло.

39.

Душа Александрийской культуры теперь возлежит в саркофаге истории философии, точно мумия, оглашающая подземные стены уже уходящей культуры речением текстов, исеченных на стенах ее; эти тексты опубликованы в интереснейшей книге «Koptisch-gnostische Schriften»[1]); пространство же стен теперь вписано в нас: в нас живет бессознательной жизнью оно; но отделенный от стен саркофаг — наш рассудок — отрезан от громов брожения жизни «истории философии»; перспектива космических и исторических мыслей теперь в саркофаге рассудка таит похороненного Тантала — нас, в на-

[1]) Editio C. Schmidt Leipzig 1905.

шей мысленной самости; мы — огромные пирамиды, мучительно выпертые из космических бредов; мы заключаем в себе свою душу, посредине квадратного мрака сердечного помещения, положенную в тяжеловеснейший рассудочный саркофаг; по артериям нашего тела топочут Лемуры в квадратную комнату — грудь — голосит: «Кто это построил... такой скверный дом?» Мефистофель командует ими»...[1]). Над пирамидою, где-то сверху, гремит голос Тартара.

40.

У Вячеслава Иванова есть великолепная трагедия «Тантал», передающая Александрийскую душу; античный герой, сытый роскошью, данной от Бога ему, похищает на пире «богов» пресветлейшую Чашу с напитком.

Здесь отчетливо явлено положение Эллина на рубеже двух эпох: он, сковавший невнятицы древних космических мифов огромною силой рассудка — поднял свою силу на Бога, взойдя в Его сферу.

Похищает на пире богов всесветлейшую чашу духовного знания; Вечности схвачены эгоистической самостью мускулы укрепляющей мысли; и этим разорваны; а своры мигов — толпа за толпой — унижают Дух жизни; толпа раз'яренных животных терзает отшельников-христиан; и толпа христиан беспощадно терзает невинное тело Гипатии.

Это страшное дело — работа сознания «Тантала» — александрийца, который «я» мысли под'емля одною рукою в обитель неба, другою кощунственно похищает напиток богов и отдает их Иксиону и Сизифу («христианину» и «язычнику») того времени; кощунственно влечет в небо обоих; и разгорается чувственность в них. Сам-же Тантал впадает в оцепенелые сны; появляется нисшее «я», порожденное Танталом, нападает на Чашу, пронзается молнией: действие «молнии» Александрии на нисшее «я» человека мы вскроем отчетливей — ниже; оно — в неумении обходиться с чистейшим духовным огнем; и Иксион вращается огненным вихрем (иль вечным возвратом несчастного Ницше): подстерегает он нас в мистицизме, Сизиф поднимает утес; утес — падает на Сизифа; усилия философии поднять мир — обрываются.

---

[1]) Окончание «Фауста».

Александриец — становится явственным ныне; гласит из веков:

Темной окаменев громадой,
Повисло тяжко
Тебя подавив, твое темное Солнце[1]).

Повисает в пространствах истории Тантал и повисают в пространствах космической мысли тончайшие логики.

41.

Мы покинувши круг мировоззрительных смыслов, Universalia Аристотеля полагаем в себя; и — выкидываемся из себя, как «с у б' е к т» познавания. Круг природы — покинут; он — изжит; где обычное «я» — лишь «о н о», распинаемое, как тело, логической сущностью:

Это жалкое, желтое тело
Пятнами впадин
Глаз, —
Провисая между двух перекладин
Из тьмы
Вперяется
В нас.
Это жалкое, желтое тело
Проволакиваем мы
В себя,
Во тьмы
Пещеры
Безверия,
Не понимая,
Что это мистерия
Совершается
Нами —
В нас.

Земля мертвенеет, отваливаясь от ног; чувствуешь головокружение логики, чувствуешь «я», выбитым из души, умирающим, отходящим в пространства темно-лазурного купола; этот купол, не озаренный никак, — гносеологическое сознание, на тебя нападающее, и выхватывающее из ж а л к о г о, ж е л т о г о т е л а, п я т н а м и в п а д и н г л а з п р о в и с а ю щ е г о м е ж д у д в у х п е р е к л а д и н; гносеологическое сознание —

[1]) Вяч. Иванов: «Драма Тантал».

нападающий Зевесов Орел, расклевывающий главу и убивающий тело, чтобы на одно лишь мгновенье почувствовал ты, как

Труп из вне-времени
Лазурей
Пронизанный от темени до пяты
Бурей
Вострубленной
Вытянулся от земли до эфира,
Чтоб расслышать в эфире:
— «Сын —
«Возлюбленный
«Ты».

Про Александрийского человека, как и про нас, можно одновременно сказать и то, что —

Перегорающее страдание
Сиянием
Омолнило
Лик
Его, как алмаз, —

— Когда что-то,
Блеснувши неимоверно,
Преисполнило этого человека,
Простирающего длани
От века и до века
За нас.

И то, что

Какое то ужасное «оно»
С мотающимися, перепутанными волосами
Угасая
И простирая рваные
Израненные
Длани,
В девятый час
Хрипло крикнуло из темени
На нас:
«Или... Савахфани!»..

В Александрийском периоде пересекаются два момента: момент просияния и момент умирания; выпрыга, выхождения из себя на «в о с т р у б л е н н о й б у р е» экстаза; и — вхождения огромного космоса «я» — в умопостигаемую... брешь головы, как в дыру, предполагающее муку сжатия, спрессовывания Вселенной до... бренного тела; извольте-ка вынести свои звезды, под черепною коробкою... мозгом, и Солнце свое, превышающее размером землю, затиснутым в бьющий сердечный комок; Юпитер — затиснутым в печень; Венеру — сведенную к... почкам; и так далее...

Двоякое действие — выворачивание и вворачивание — двояко мучительно; выворачиванье, расширенье без меры, рисует картину, начертанную на Бхагават-Гите; о ней заявляет Арджуна, что жизнь той картины его ужасает; «в с е к и п е н и е» расширений лишает внезапно нас почвы; мы чувствуем тут себя—«о т з е м л и д о э ф и р а», как если бы печень вдруг стала громадой Юпитера и завращалась по собственным принципам жизни; а отделенное сердце самостоятельно брызнулоб кровью лучшей, как огромное солнце; невыразимости, небывалости сферы Вселенной сознания вне тела и ощущение математически точное, что ты — и не ты, а... какое то мировое «оно», набухающее в никуда и ничто, которое все равно не осилить, — грозило бы разорвать сознавание; Александрийский экстаз расширял; и пошли бесконечные лестницы эонов в философии гностиков, чтоб при помощи их разрываемое экстазом сознание что то такое умело ощупать; и — не было ощупей: это — ужас!

Но ужасней для Духа — сошествие Духа на нас: его сжатие до ничтожного организма, в котором сияние венерической жизни кощунственно оскверняется... почечным отбросом; жизнь огромного Существа, нисходящего в нас, чтоб б е з в и н н о п о с т р а д а т ь, переживает мучения и как бы утопает, засасываемое дырою, зияющей снизу (отверстие тела); в месте нашего тела — лишь щель, сквозь которую проходит оно; с периферии несется оно в несуществующий центр, спрессовываясь в ощущение, что оно — не оно, а какое то втискивание в никуда и ничто, которое — по мере вхожденья сознания в тело — прорезывается невероятно мучительным ощущением беспредметности: боли сидепия в органах — без возможности выйти из органов.

Соединенье страданий двух «я» в со-страдание страданий и образует Голгофу внутри существа; в то огромное время, когда воздвигаемый крест в Палестине — стоял, предлагался и нам этот крест: внутри нас перекрещеньем путей, существа Человека и Духа. Александрийская мистика, философия, гностика опрокинули вещую необходимость креста; от креста отвернулись; и обусловили срыв того времени; прикосновение двух направлений не перешло в перекрестность, перекреститься должны они были; вместо этого точка их встречи предстала толчком тела в дух; человеческий дух отлетел в вышину на такое огромное расстояние, что виделся точкой... понятия Гегеля: математической точкой; а множество духов Вселенной вокруг стали множеством точек: миры атомов — миры духов, усмотренных издали; это понято ныне; об этом теперь повествуют — Бугаев: «физические законы... первоначальные обычаи или привычки монад». Духи, зримые издали, суть монады; и зримые еще более издали — атомы.

Прикосновение двух направлений не перешло в перекрестность; и точка их встречи сложилась в толчок: духа в тело; и тело упало столь низко, что стало казаться оно — обезьяной, животным, червем, наконец, комом слизи (амебой); сложилась теория возникновения идеальнейших устремлений из слизи морской; философия «Фалесовых вод» оказалась научной; но воды истаяли в газы, а газы — в эфирные атомы, т.-е. в те же монады (и Лодж населяет пространства нематериальными обитателями).

Бездна нижняя перекликнулась с верхней: и кризис мысли стучится!

43.

В Александрии столкнулись два мига — в один: Вечность встретилась с мигом; миг бросился в Вечность; произошла катастрофа; и на пути посвящения в мысль испытание мыслью Александрийским сознанием не было принято; оттого и сознание Александрийца — есть образ —

С темными пятнами впадин
Провалившихся странно
Глаз —

Его, этот образ —
Проволокли
Точно желтую палку,
Забинтованную
В шелестящие пелены —
Без слов
И без веры
В воскресение —
— то есть во мрак «гносеологического» сознания: в пещеры и лабиринты истории философии начала XX века, где оно почивает доселе невоскресающей мумией; в осознании нами в себе этой мумии мысли — наростающий кризис ее.

44.

Александрийский период...

В причудливостях пересеченных культур — прорезь чаяний о единстве всего мирового; но нет его; перед нами обломки груды поверженных храмов, и грохотами упадающего Іерусалимского Храма и Серапеума подает голос свой:

— «Близка гибель мира!»

Будто бы: из расколотых гробов огромного прошлого перед нами проходят, одетые в мифы, как в саваны, Аполлоний Тианский и Симон.

Никомах, Сатурнин, Василид, Валентин повествуют о таинствах бытия божества: образы Ахамота, Софии и Офиса стоят перед нами; безумным романом течет нам вселенная; из мужеженского Бифоса, бездны, истекает цепь эонов; Дух, первый эон, зрит Истину, свою супругу, рождая с ней Разум и Жизнь; те рождают уже Человека; падают цепи эонов, развивая в падении страсть к источнику совершенства, страсть меж безднами — образ влюбленной Софии; эоны принимают участие в ее страсти; в романических катастрофах мира течет нам вселенная и мир страсти нашей, вторая София, рождается из страсти Небесной; и эта вторая София — бросается в хаос; текут воды из слез ее; а из улыбки струятся ее: лучезарные светочи; материей оплотневают печали Софии.

Происхождение миров и богов — будто страстный роман.

45.

Александрийский период — есть сказка; неуловима ее новизна; но обломочный мир погибающих в ней, непроцветших культур, уловим; Александрийский период — гробница; в ней

сгнивает все прошлое; в ней оно — только хаос бушующих саванов; мы видим: из саванов вылетает Психея всей греческой жизни: падает в бездну Духа. И она — непорочна, как снег. Многодумна, как ночь.

«Вся ты в огнях, как полярное пламя,
Темного хаоса светлая дочь».

Вл. Соловьев.

46.

Александрийский период — какое-то: т а да не т о; в нем смещаются все предметы; точка же смещения не дана; кажется, все осталось попрежнему; и ничто не достигнуто; все же — внутреннее потрясенье сказалось; оно зажило в недостигнутых образах будущей жизни мысли; так в самый миг потрясения потрясение не разрушило быта жизни.

И наверное, не пересеклась жизнь будней в минуты Голгофы; и — в миг воскресения.

Александриец, передающий нам пресечение истории мысли и жизни — может быть угадан в неврозе; может быть он страдает: истерио-неврастениею, заболеванием вазомоторных нервов; и — прочим.

Александриец воистину потрясен в ощущении ему зримым и оку незримым Видением. Собственно, и Видения нет: и оно в нем — «как бы».

47.

Сознание грека — резец; а понятие — скульптурное изваяние; образ мысли есть миф; содержание мифа — понятийно в более поздний период; от мифической к диалектической форме стремится мысль грека; и отсюда она устремляется: к формованию чувственности.

В величайших размахах позднейших периодов мысли источники мысли рассудочны; рассудочно расширение понятия до идеи; положение идей в «вне-рассудочном» совершается посредством рассудка; вылеплено со стороны его формы рассудком «е д и н о е» у Платона; самое представление о нем есть его облепление средствами рассуждения; так в идее Добра в платонизме взят в сознание человека... еще рассудком и Бог; самое наделение существенным бытием идеального мира поэтому есть вписание в Дух лишь очищенно взятых понятий.

Разложи мы их по рядам ремесленных представлений науки, они будут рассудочны.

До систематики своих мыслей Платон не возвысился диалектически; к этому приближался он все же. Нет системы Платона. Но есть систематика Аристотеля; разноустремленности диалектик обоих мыслителей связывались бы единством системы, будь подлинно система мыслей Платона; обоих мыслителей насильственно рассекаем поэтому мы; так мы вздергиваем Платона к Плотину; мы сдергиваем огромного Аристотеля до механической логики; мы неправильно очерствляем его; мы неправильно наполняем Платона мало свойственной мистикой.

В платонизации подорвано кипение жизни мысли Александрии, а в ее подрыве — подрыв: жизни мысли Христовой.

Платонизация — грех истории мысли и — причина ее тупиков: до Кантианства включительно.

48.

Систематическое изложение понятий предполагает не мертвое возлежание их в мертво оформленном Разуме: а описание кипения ритмов мыслительной жизни в живо данной стране: произрастание, процветание их; здесь идеи — летучие существа страны мысли и — описуемы танцы их. Их не знает Платон, потому что средствами действий рассудка он обводит страну жизни мысли: обводит пунктиром; оттого-то вот — его идеи пунктир; оттого-то вот: пунктир, его Бог; разумеется не у Платона пунктир его Бог; а в дальнейших раскрытиях Платоновой линии Мысли. У Плотина не то: Платоново представление идеи продавлено в Бога; и в идею продавлено бытие всех вещей; но лежит, не кипит бытие всех вещей в лоне вечной идеи; исправление представлений о месте идеи дано: не дана ее жизнь. Над материальною чувственностью диалектически окрыляются мысли чистого грека и они оскульптурены. Перевернутым теневым представлением о Платоновой форме, понятием, иносказательно живописует Плотин нам о стадии упаданья идеи в рассудок; живописует духовную мысль, живописует душевную умственность; иносказание стирает в Плотине самую скульптуру понятий; смысл идеи в себе понят им; применение же понятий «единство», «единое», к уразумению сверх понятийной жизни идеи создает его графику уплощений прекрасной скульптуры понятий; неправильно понимает «идею

в себе» платонизм, но находит прекрасную, ясную форму своих выражений, категориальное пониманье идеи проходит блистательным барельефом; он дает ряды аллегорий, в которых свободно ютятся: и символики духа, и логики; но духовное содержание платоновых аллегорий позднейшею мыслью отвергнуто; и разложены аллегории всем учением о законах понятийной жизни.

49.

Образно говоря: — представление об идее у грека александрийцем положено внутрь его представлений о духе: и впутри страны Разума грань двух сфер представлений; как бы стерта она; лишь впоследствии намечается, углубляется, расширяется эта черта; превращается в бездну она; в заполнении бездны — история философии: от Декарта до... нашего времени... —

— Мысли грека и мысли александрийца сперва предстоят нам в подобии сближенных ядер комет, развивающих от себя два хвоста: к нам и — в дали; при внимательном уразумении смысла обоих периодов мысли они выглядят нам: удаленными друг от друга кометами, развивающими навстречу хвосты; и хвосты те сливаются всей историей философии: от Платона до... чаемой, огромной системы; косноязычный намек на нее нам прорезан впервые из хаоса Александрийских обломков; под синкретическою формою мы провидим: огромности духовного содержания.

50.

Отношение Александрии и Греции напоминает нам конусы опрокинутые друг над другом: черта — между ними.

Расширяется до идеи в одном заостренная скульптура понятий, и до понятийных взятий идеи в другом упадает идея; (но эти взятия — «как бы»): неодолима черта меж мирами «идей» и «понятий»; понятие об идее — абсурд; определение идеи понятием разума есть кощунственный в'езд на коне рассудочных предпосылок в храм разума.

В Александрийском периоде видим мы: вырезание нерукотворного храма мысли рассудком; и оттого оно выглядит: вырезанием воздуха; видим — линии вырезов воздуха; храма мысли не видим; получается нечто в роде «писания вилами по воде»; и такое «писание вилами» — Александрийский период.

Оба конуса мысли — Александрия и Греция — отделены друг от друга: перво-сущее у Плотина сужается в мир духовной душевности; чувственность у него не пронизана духом; между солнцем Плотина и нами — покров; сказ о солнце есть сказ через понятие; оттого-то он есть «несказуемый сказ».

В эротическом окрыленье Платона возносимся мы в мир идей; но окрыление это — душевно-телесно; и красочность идеального мира есть поэтому чувственность.

Линия разделения конусов — осознание граней рассудка; в Александрии и Греции нет его; и оттого-то: р а з б и т и е м выглядят все попытки р а з в и т и я Платоновой мысли; мысль, ударившись о рассудок, повергнута; в умении править страстью — преодоление граней: и — стоицизм перед нами; или: в чувственность упадает мысль, отрицая себя: скептицизм.

51.

Скептицизм, стоицизм — обвал мысли Греции; мысль срывается с кряжей: Александрийский период — огромнейший перепрыг души мысли в дух мысли; и поэтому — выпрыг он, нам являющий эпилептический припадок чувственно рожденных понятий; тело мысли здесь корчится: дух не сошел в него.

52.

Мысли вылезли из утробы земной: земные мысли в еврействе; мысль в кипениях крови прорылась сквозь кровь; и кипение крови мыслью — пророчество; обратное: образованье паров над кипением родовой, кровной жизни есть мысль древней Греции; в поздней Греции образование мыслей — осадки: облако струит дождь: атмосферична мысль грека. Голубой покров атмосферы — она.

В Александрийском периоде воздушная атмосфера разорвана; солнце грека из неба упало, как Фаэтон; сорваны лазури вселенной: небеса свились свитком; черная верхняя бездна: в нее — звезды нового Космоса смотрят, как в разбитое темя вселенной; в нее сыплятся метеориты из мыслей.

Бездна неба здесь бросилась в темя Платоновой мысли; в бездну падает ветхая мысль; но падение это начинает выглядывать малокровным рассказом в понятиях; о ступенях схождения Сущего, об отношении к Логосу их — к душе мира и к нам.

Между Александрией и Грецией нет еще буфера в виде линии мысли от блаженного Августина до наших дней; падение Александрии на Грецию здесь поэтому выглядит: разбитием черепного покрова; ударом болида о темя; здесь кометный блеск зажег мозг; отражением сожжения мозга — погашеньем сознания — перевернуто представление о главе человека; она ныне, раз'ятая, раскалена экстатически; конус света, простертый над нею, есть протянутый за кометным ядром его хвост, прободающий самое кольцо Зодиака; так с безмерностью Космоса сопрягается сознанием человек; окрыленная человечья глава — это ангел:

В волне золотистого хлеба
Попрежнему ветер бежит.
Попрежнему нежное небо
Над зорями грустно горит.
В безмирные, синие зыби
Лети, литургия моя:
В земле, упадающей глыбе,
О Небо, провижу Тебя.
Восторгом меня преисполни,
Родной стариною дыша:
Из светочей, блесков и молний
Сотканная, плачет душа.
Все вспомнилось: прежним приветом,
Слетает в невольный мой стих
Архангел, трепещущий светом
На солнечных крыльях своих.

Ангелология соединяет по новому нам землю, воздух и небо: в сознании человека Иудея, Греция и Египет — встречаются.

53.

Александриею прорастает Греция в Иудею: Египет бросается в Грецию.

Соединяются: з а п а д с в о с т о к о м; и — вера со знанием.

В тело мира вростает скелет мысли Слова; и оттого просветляется: духоведенье храмовых иерофонтов в Гермесовы мысли; мысли Слова, слагая планеты, вращают планеты: бегут нам планеты, бегут в нас планетности; в переложенье, сложенье, вращенье светил, освещающих смыслов и мысленных

светочей — образование, нарастание, процветание, благоухание разбухаемых смыслов и истин в непрерывной текучести; в самом движении планетарных, тяжелых шаров, здесь прорезанной силой мысли положен магический импульс.

В земле, упадающей глыбе,
О Небо, — провижу Тебя!

Здесь, в мерцании звезд, прорезается тайное человеческих устремлений, потому что мир меня мыслит; и во вселенной слова — мои. Мысленна, ангелична природа; мысленна, ангелична — природа моя; связь природ — в «*я*» всего.

Это «*я*»! Но оно вот открыто:

Открылось!... Весть весенняя, удар молниеносный, —
Разорванный, пылающий, блистающий покров!
В грядущие, громовые, блистающие весны,
Как в радуги прозрачные спускается.... Христос!

54.

В ступенях углубления самосознания нашего нам дано обличение состояния сознания духов; и состояние сознания ангела постигаемо в состоянии сознания человека; Ангел подлинно видим мне; ангелу подлинно я открыт, как лежащая книга перед ним на престоле из тела: стоит над престолом, читает меня.

В умении мне открыться ему — мне умение его слышать даровано; в произнесении имени моего чистым духом впечатление имени ангела мне открыто: произношу его: «вестник». Так и все мои впечатления — печати; Ангелом пропечатаны насквозь мои впечатления о мире: напечатленья ангельских ликов в бродиле материи; впечатления человека прорабатывают и весь внешний мир; а восприятия мира — приятие правды; в осуществлениях моей жизни впервые творится: действительность собственно.

Таково задание Александрийского периода мысли: преображение плоти мира в действительность Ангела.

Задание осуществится... в грядущем: духовной наукою.

55.

Здесь, в филоновой философии и в герметических книгах — еще небывалые зори не восшедшего Солнца; но — зори потушены.

Солнце мысли встает из полуночи: подсознания; разбивает пороги его; и чудовищной прорезью входит в мысли его; познанию запорожные части суть — мир; в этом мире есть Солнце: оно — полуночно; стояние посредине души сотворяет во вне бледный отблеск его: таково светило дневное.

Солнце подлинно — в середине души; свет единственный — просвещающий Свет — свет логический: его действие в оболочках душевности, прячущих дух наш от тела, есть свет просветляющий тело: Фаворский. Просвещение за порогом дневного познания непросветленного сознания нашего — низведение в землю огромного, мирового светила: схождение Слова.

Повествования евреев о времени схождения Слова — в этом смысле — рассказ: об отношении Мысли к мирам нашей жизни; здесь история, да и самое время — подобия просвещенья сознания. Здесь наука о звездах есть «п а н - л о г и з м», неотвлеченный, как гегелев, но влитый в кость мускулов жизни.

Здесь, в истории мысли встречает нас первая прорезь воистину воплощенного представления об идее; в системе оно не дано, а загадано в сочетании начал мысли Филона, Гермеса, Иоанна; и загадано в мощном подобии Иезекиилевых многоочитых колес, четырех животных и Слова, над ними парящего; здесь загадан весь Гегель; и Гете загадан здесь тоже.

56,

Философии Александрии есть темное покровение: Откровения. Покровение не случайно, конечно; смысл его в расслоении культур былой мысли и жизни; точка нового откровения переносится в новые, глубинные горизонты; слои мысли, лежащие между ними и новыми горизонтами мысли — масштаб; в проницании слоев мысли до нас новоявленным светом сознания — вся история новой мысли; точка нового света в нем прорастает лучом, как зерно протянутым колосом; проницание колосом света покровов есть их прорастание философией, логикой и наукой; оно есть уже в Прокле. В гуманизме мы видим процветшими александрийские пелены истин мысли; Александрии не видно под ними: она вся — в перегное; в зеленях просвещения новоявленной Греции ренессанса остается закваска ее; на ее дрожжах всходит тесто; нет вскипания в правилах христианства, в догматах Церкви; есть насильственное

извлечение из непрокисшего теста дрожжей. Преждевременна беспокровность открытого в упрощения протестантства; преждевременно положение предела для гнозиса в догмате. Преждевременен свет без покровов; он нам явлен в покровах: свет солнечный; еще даже покров — свет Фаворский для подлинно Света; этот Свет все еще покровенен; преждевременное разоблачение Света в истории мысли поэтому выглядит: угашением Света; сдернутые покровы с него — жалкий труп нашей жизни: столкнут труп в пустоту. Там, где Духа искали, уже не было Духа: на небе; уж Дух сошел в землю, прорастая в ней безграничной свободою исканий; в небе был огромный футляр, заключающий пустоту. Небеса астрономии — суть пустая громада сшедшего из нее в землю Духа. В Нем восстанет земля.

Третий день не исполнился: ждем его.

Ныне Дух дан нам в импульсе кипения жизни, восстания «теста»; пусть восстание выглядит бунтом; нам бунт просветится в извлечение Духа из жизни, положение Его за пределы обнажают — нам гроб и футляр; невосставшую плоть в них томят «непостижники»; оставляют невскрытым они прорастание зерен и света; и — зерна гноятся; прорастание — в томлении всей стремящейся твари, в горении твари; «непостижники» эту тварь собирают в стада: и утучняют ее на... с'еденье.

57.

Все боящееся, не свободное, двоящееся, и до сей поры тянется к гуманизму Гусса и Бруно... одною рукою: другою сжигает их; современные пастыри стад ими согнанной в кучу твари пусть выскажут нам открыто и честно: свое отношение к гуманизму, чтобы и мы твердо знали, с кем мы: со «святым» Костром или с светом... гуманности, а то свет начинает порою чадить.

Он — не отблеск Костра ли?

58.

«Свет Христов просвещает».

Просвещаемы александрийские обломки культуры: просвещаемы устремления Аполлония; просвещаемы даже... хулители света.

Подозревание духовных порывов есть мерзость; подозревание улыбки Джиоконды — разврат; монну Лизу мы созер-

цаем невинно; рассуждение о развратности произведений искусства вторично сжигает: Джордано Бруно и Гусса; нас ведет на утонченный костер; и, конечно, срывает с известного Московского здания ему присущую надпись:

— «Свет Христов просвещает всех».

59.

Александрии пригрезились пульсы сложенья культур и процессы духовного восставания культур в человеке; интуиция — средство узрения; страпа восставанья — Феория; но летающий пульс оборвался: он жалок и беден.

В Александрийском периоде выражен момент элеатства; гераклитический вихрь изменений многоразличий единого плавит, правда, застылое бытие в перипетии космической жизни у подлинных гностиков; все же часто он тушится; и полнокровный рассказ подменяется бескровием схемы; и текучие превращения сущего во многом густят ритм рассказа: аритмии рассудочных схем, барельефы из чувственно понятных мифов — расщепы единого; борьба с чувственным пониманием мифа в Александрии диктуется чувственным отношением к образу; метаморфоза духовных наглядностей подменяется генеалогией плотского; нетекучее понимание жизни духа уплотняет духовную жизнь, угашая в ней строющий ритм; чувственно образы выпирают из ритма, а ритм, не впечатанный в образ, смерзается в кое-как надетую схему; и в животно-понятой мистике, в черствениениях убогих абстракций — мифы, взятые так, рвут свой собственный идеальный смысл.

Высота интуиции при попытках ее так оформить — косноязычие упадочной мысли; и просто мертвою теократией теряющих веру людей здесь становится расположение мифов по ритму.

Перед нами стоит Вавилонская башня случайно нанизанных фактов. В Александрии встает Вавилон.

Вавилон и Содом.

60.

Роковой разрыв Греции на «Восток» и на «Запад» является столкновением мысли и мифа, «Запада» и «Востока»; то есть столкновение западных и восточных каркасов; понятия с вещно воспринятым обрядовым символизмом;

Александрийский «Восток» — по существу не «Восток» и не «Запад» — он являет попытку прорыва пространств и времен в неиз'яснимые измерения мысли; и вхождение в сознание сверх-сознательных высей рисует он.

Он как бы говорит:

«Я засыпал (стремительные мысли
Какими-то спиралями вились;
Приоткрывалась в сознающем смысле
Сознанию неявленная высь.....)
И видел духа... Искрой он возник:
Как молния, неуловимый лик
И два крыла — сверлящие спирали —
Кровавым блеском разрывали дали.
Открылось мне: в законах точных чисел,
В бунтующей, сознательной стихии
Не я, не я — благие иерархии
Высокий свой напечатлели смысл».

Смысл его в преодолении «Запада» и «Востока»; этот смысл исказился в нем: преодолением каркасов каркасами религиозной догматики.

«Восток собственно» в разверзании утроб подсознания, угрожающем поглотить в себе чистые перлы новорожденной, младенческой мысли.

В Александрийском периоде не подымался еще поднимаемый ныне вопрос:

«Каким же хочешь быть востоком:
Востоком Ксеркса иль... Христа?»

Вл. Соловьев.

В преодолении культурой каркасов «Востока» и «Запада» каркасами религиозной догматики начинают впоследствии бить струи — гуннов, турок, арабов, татар: затопляя огромные континенты, откуда вытарчивают архипелажные острова «Востоко-западной» мысли, эти струи народов живописуют извне нам восстание подсознательных вод «Востока», силящихся переполнить внутренние пустоты выветренных континентальных пород сознания нашего. Мысль, не взявшая Логоса, повернулась назад, на Содом, остановилась пред серным расщепом: и из этого «кладезя бездны», пифийской расселины, — вылезать стал.... Атилла!

Подлинен ужас Грека к его породившей утробе до... отсутствия пафоса к чадородию; свят еврей в чадородии; обращение эллинизма к чистейшим истокам еврейства искажает жест Грека в поступок Эдипа; в чревном хаосе стережет Грека ужас; и приятие архаической Греции сознанием нашим ввергает нас в бездну.

Архаический эллин, Тютчев, — он прав в своем возгласе:

«О страшных песен сих не пой:
Под ними хаос шевелится».

Не боится тут Гете, потому что он — поздний эллин, всем заданием жизни повернутый.... к продолжению Александрийских заданий, воспринятых не путем изучения Александрийских архивных обломков, а — воспринятых в Духе.

61.

В Александрийском периоде подлинно тяготение к соединению «Запада» и «Востока»; тяготение было огромно, огромней стремящихся; перегруженная тяжестью проволока иногда теряет упругость; перегружение тяготением деформировало александрийский период, возникший в чрезмерностях; и выразилось в отсутствии соединения ритмов западных и восточных культур; в Александрии Греция аритмична; воспроизведение мелодии ее подчинено метроному. Мифологемы не пляшут в ней: их кто-то сухо выстукивает; в Александрии же аритмичен Восток: где пышность образов Индии, где блистающий Соломонов Храм? Пал. Где пульсация солнечных песен Персии? Где блещущий Ахурамаздао? И — где острота Заратустры? Самое Живоглядное Солнце дается как тяжкая митра жреца Культа Митры; золотая митра — есть форма, гнетущая голову.

Александрийский период являет сложенье каркасов в «востоко-запад» огромной тяжелой идеи: централизации; централизация — оплотнение ритма единства; оплотневшая действительность восстает перед нами в Государственной, римской идее; но в идею ту — входит «Перс»; централизация подменяется деспотизмом: а право — правящим; обожествлением самовластия в «запад» влился «восток». «Нутро» древнего грека преждевременно здесь перекинуто над верхним

порогом сознания нашего и появилось... на троне. Александрийский период себе не поставил вопроса:

«Каким же хочешь быть востоком:
Востоком Ксеркса иль... Христа?»

Но появился ответ на сознанием не вскрытый вопрос.

Ответ?

Ксеркс. Гелиогабал.

Осуществление Ксеркса на западе есть разлом Рима собственно на Византию и Рим; а вобрание ритмов единства в себя государством (включение над-сознательной выси в хоромы сознания) осуществилось: соединением Государства и Церкви; противоречия устремлений здесь скрыты в Церкви в одновременном желании и хоромами овладеть, и — отдать себя им. В цезаропапизме, в стремлении к восточному рабству — находим все это.

Александрия не справилась с устремлением: обезумела в прыжке своем, на двое расколов человека: на главу и сердце; прыжок не удался; Александрия упала в действительность, как в свой собственный ею же сложенный гроб (в Византию и в Рим). Вознесение в страну Духа обернулось в ней прозаическим путешествием по Средиземному морю; и — только.

Александрия преставилась.

Ее дух — не угас.

62.

Ритм роста мысли от Греции собственно к Греции Александрийской напоминает нам эпилепсию.

Вдруг задания греков — невероятно прозрачнятся: на могучих, крылатых размахах ненормально расширена самая Платонова мысль; чувствуешь вдруг себя из себя извлеченным, из'ятым: бренно органы тела опали осенними листьями; ощущение, зрение, слух — заструились стремительно, пролетая радужно мимо; и улетев — в никуда.

Несказуемо переживание александрийца в его посещающей правде: запечатлеть, увидеть, понять невозможно; понимания, мысли, понятия — все летит перед тобою и шепчет тебе свою правду; ты — полон рассказом вещей, улетающих в немое безвещие; ты мгновенно узрел; ты — услышал; ты — понял; разоблачен лик вселенной в своем об'ясняющем стержне; но глазами, но ухом его не уловит никто, потому что спадают очка-

ми глаза; уши тоже — не уши: наушники; и они тоже спали; язык — отвалился.

Чувствуешь, что не вынести страшной ясности зримой, низринутой мысли; и невольно в испуге хватаешься за лежащие пред тобою — язык и глаза; облекаясь в них, путаешь; говоришь расширенным оком; взираешь словами.

Облечение в органы чувств есть удары о них в мгновении вознесенного духа, переживаемые страшной катастрофой перемещенья, смещения органов.

Александрийский период есть взгляд — без единого слова; такой взгляд — говорит; или же: Александрийский период есть тоже слепое низание слов; и — слепое, хоть — звучное (филологическое задание ярко: глоссолалия — ярка); в этих звучностях грохот падения громов ангелической мысли; но разрешается грохот падения: корчами.

Александрийский период есть корчи: внутри жизни мысли; ею зримое там — ее бренный разрыв в страну чистого Духа.

Причины припадка — в незрелости: мига молнии в голове — голова не выносит еще: разрывается мозг; в голове муравейники мыслей, палимые интуицией; опаленный остаток сознания, не излитый, стоит перед нами кретином: кретин гримасирует схемами и румянится мифами; надевает пестреющий хитон и запястья Востока, бежит от ударов палящих, разительных молний в глухие покровы природы: кроет голову розами; кроет тело об'ятием; и под покровом природы, спасенный природою, начинает низать он слова в тончайшие звучности Филологии, уподобляя треск слов громовым раскатам — о т т у д а; и пытаясь риторством извращенных понятий изобразить беги виденной молнии.

Александриец — филолог, философ и ритор — это нервнобольной: пожалеем его.

Александрийский период есть огромное извращение понятий Платоновой философии, где последняя выглядит только жалким рассказом о своей, над-Платоновой высоте, о пирах чистой мысли внутри интуиции; неугасимая тоска по идее, невыразимой, незримой, взрывает в нем темные вопли страстей: и вторая София — перед ним возникает томлением чувственной жизни, в котором он ищет конкретностей, невыразимых словами; не утоляет и чувственность: Александриец кричит ею нам о своих сверх-чувственных высях; и ломая в себе свои чувства, он их извращает.

63.

Молнии в мысли, неожиданно сразившие мысли, — суть отблески другой, яркой молнии: молнии сошествия Логоса; отблески в голове, и отблески в сердце, — пока только отблески!

А сраженные мысли бессильно и долго потом возлежали, не двигаясь, в догматических «р а к а х».

В сердцебиениях и головном искривлении повторяет впоследствии христианство «в о с т о к и» и «з а п а д ы»: головной рост схоластики все же есть развитие Истины в голове; а развитие истины в сердце есть подвиг: Любовности; так развитие мысли Логоса по истории пробегает под тенями оболочек из мозга и сердца: под бессердечием жалких опытов мысли над бьющейся жизнью в догматике; под безумием пламенений сердечных, нежданно, безудержно хлынувших из «безголового» сердца огромнейшим, инквизиционным костром.

Соединение головы и сердца исполнится: в в е р н о м з н а н и и сердца, в у м н о м д е л а н и и головы — ждем его.

64.

Александрийский период — строительство храма мысли; но план взят из Греции; материалы — обломки культур; вместо пригнанных камней мы видим: дорический цоколь, отбитые лотосы капителей Египта, голову ассирийского льва, лапу Сфинкса; в непригоняемых, пестрейших частях похоронен самый план; требовалась работа тесания, цемент и возведенные стены истории философии, чтобы заполнить скачок от подножия.... к куполу; не доставало: методологии, логики; не доставало системы наук в нашем духе с Когэном и Наторпом, чтоб интуиция не легла непосредственно на уплотневшие мифы; противоречия угрызающей совестью рвали душу Александрийца; отвлечение — претило ему; и, однако, боялся он в метаморфозах конкретного утопить лик Единства; если бы он был более с Гераклитом и менее с элеатами, ему было-бы легче; он не силился-бы протягивать между случайными мифами свои случайные связи; паутинная работа понятий ему не-под силу; мысль Платона в видимом своем выражении черственела, выдавливая из себя чувственно разбухшие мифы: наросты на мысли; но в невидимом взятии мысли Александриец воистину

слышал: гармонию Сфер ее, где она, расширяясь, являла вид конуса, отлетающего от Главы двумя крыльями света.

Поднятие на высоты прозрачнит нам воды; так поднятие сознания над собой опрозрачнило Александрийцу лежащее за порогом сознания древнее тело мысли: змеевое туловище. Появлялся — «гад».

Соловьев говорит:

«Гад не виден подводный,
Да и скал не видать»...

Переступи сознание грани, — за верхним порогом Сознания приоткроется панорама лежащего за нижним порогом; и «г а д» будет виден.

Апокалиптика напечатлела «дракона»; в катастрофическом периоде мысли перед в и д я щ и м возникло старинное тело сознания: з в е р ь являлся из бездны, грозяся сознанию.

Раздавались тогда голоса: «Гибель мира близка!».

65.

Образу до-Сократовой мысли, человекоглавой змее, противопоставили окрыленную главу человека.... без тела: то — ангел. Но формующее начало, глава, есть сознание человека; содержание формирований для чистого грека суть мифы: змея; содержание форм в Александрии подчас — над главою парящие и безглавые крылья: над-человеческие конкретности страны Духа; проявления жизни их очень часто космичны; может быть проявления эти суть вращение кипящих колес, наподобие «Иезекиилевых»; прорезаясь во главе человека, потрясли они; человек ужасался: вспыхивал пожар чувств; в нем сгорала действительность:

Мы ослепленные, пока в душе не вскроем
Иных миров знакомое зерно:
В моей груди отражено оно.
И вот — зажгло знакомым, грозным зноем,
И вспыхнула, и осветилась мгла...
Все вспомнилось: не поднялось вопроса —
В какие-то кипящие колеса
Душа моя, расплавясь, протекла.

66.

В интуиции форма — одно с содержанием Мысли; и ее механика — кровеобращение огромного Существа.

Александрийский период все силится обнаружить, что Мысль — интуиция; что она — «сама по себе»; и — жива; что не я мыслю мысли: они меня мыслят в помышлении их я себя нахожу в данной мне проблеме познания «суб'ектом»: и — только; все мое культурное творчество — осуществление меня в строющих ритмах; и материя — разломанный дух. Александрийский период не выявил своей мысли в отчетливой форме.

Но ясна она.

67.

Философия интуиции должна-бы была проработать нам две системы воззрений: после-Платонову и до-Сократову; соединить воедину их. Александрия же обнаружила — лишь глубочайший расщеп. Вне механики мыслится организм живой мысли: подменяются анти-логосом. Неокантианских сознаний выложенные вне механики мысли, страна живой мысли; живописуется эта страна; в рассуждениях Дионисия Ареопагита об ангельских иерархиях дана эта живопись; характерна она; здесь открыта свобода символики; но свобода ведет к уподоблениям чисто животным в иных школах мысли; понятия располагаются розеткой вокруг; образы давних былей животно вползают и обвиваются вокруг древа познания; фигурирует снова змея; то — распятая, то — на древе; человек углубляется в чувственное изживание символа, в нем провидя страну жизни духа; жизнь становится «животом», а «живот», — кишки, — это «змеи»; аналогия жизни животностям переходит уже в гомологию; понятия, истончаясь в иносказательных смыслах, нам силятся перекинуть мосты от параллелей к их корню в генезисе; и понятия наши по отношению к этим понятиям, — плоски:

Проницание Логосом жизни в теориях Логоса — подстановки: в стране мысли встает не Христос, а искусственный представитель Его: познающий суб'ект, т. е. папа в тиаре; выметается жизнь за пороги схоластики; жизнь становится «животом», «чревом», «полом»; вдавление эротизма и пола в страну жизни мысли есть обратное действие: свержение «папы в тиаре»; восставание змея над искусственною огра-

дою догматизма; метафизика углубления пола, как бы ее мы ни приняли, есть бунт гностицизма: противодействие преждевременному пределу познания.

68.

Вместо схождения Бога «в о а д» нашей жизни перед нами проносится: о к р ы л е н н а я а д с к а я г а д и н а; потрясенные видом звериным, бежим за ограду из догматов: бежим от себя, разрывая себя на з м е ю и на а н г е л а; так становится жизнь неутомной борьбою; при движении вверх обнажается змеевое корневище; падает человек; при попытке уразуметь «с в и с т з м е и н» — потрясен человек: грозный ангел его посещает и язвит пламеносным мечом; оба виденья — п о р о г и; и оба видения — с т р а ж и; преодоление «с т р а ж е й п о р о г а» — в деятельном углублении самосознания человека. Разделение на добро и на зло не отметает нам зла; убеганье от зла выглядит перегородкой внутри человека; верхняя его часть здесь не ведает жизни нижней. Человек, познающий себя, — многоочитый, крылатый, хвостатый и голубино-змеиный; преодоление зла не достигаемо отметанием; достигаемо внутренним уразумением злодеянного ритма; в манихействе встречаем попытку переплавления зла.

Манихейство не понято.

Манес — это «м а н а с»: «Манас» — дух в человеке; достигаем он при овладении «я» над астралом: и схожденье «в о а д» есть при этом; есть и встреча с «п о р о г о м». Манес волил «м а н а с».

Слабое «я» человека, суб'ект, потрясенный видением ада,— закрылся от ада.... огромной тиарою; деятельное схожденье человека «в о а д» не исполнилось; отвергнули Голгофу страданий самосознающего «я»; чистый Голубь духовности не сошел; черный ворон, познание философских абстракций, — спустился: и — каркал... столетия.

69.

Манихейство провидело линию устремления человечества; и его не даром связуют с легендами ... о Круглом Столе.

70.

Мировая жизнь Греции переживалась в хвосте; в конусе сошедшего света; и — в чаше, приемлющей Голубя, переживалась жизнь после.

«Вот — чаша благодатная, исполненная дней...
И огненные Голуби из огненного воздуха
Раскидывают светочки, как два крыла, над ней.»

Эта чаша — верхняя часть человека; края чаши — череп с открывшимся теменем, соединяющим сознание с Небом; подставка же — горло, вводящее внутренним словом Голубя в сердце; Голубь — Дух; сердце — алтарь града Нового: града солнечного освещения жизни.

Если «голубка» опустится, то сами «змеи» — Живот — приподымутся к светом прославленной чаше, оставляя змеиные кожи свои; преображенные «змеи» суть птицы; и чудесным пением птиц — голосов — преисполнится человек; посетит его — инспирация; голубиная кротость в нем подлинно сочетается со змеиною мудростью.

Вечная истина обретет в нем служителя: сочетается с лилией роза.

Белую лилию с розой.
С алою розою мы сочетаем:
Тайной пророческой грезой
Вечную истину мы обретаем.

Вл. Соловьев.

71.

Искажает пророческий образ Чаши, просветляющей наш змеиный живот, символика некоторых искривлений офитства: здесь, в символике этой змея... вылезает... из Чаши... А внесение эпилепсии в интуицию — сверх-сознание утопляет; Чаша здесь не должно опущена; не удержана сердцем она: и опущена... в Чрево, где змей вяжет Голубя ужасами радений.

«Нашу голубку вяжите
Ярыми кольцами древнего Змия».

Вл. Соловьев.

Облеченный в Голубя змей прорезается явственно нам в темном лике Хлыста.

В Александрийском периоде змей восставал: Драконом, Протагоном и ... Офисом.

Восстает и теперь.

72.

Не было восставания этого во времена Персеваля: над заданием Чаши, поставленной в сердце (круглый стол — не оно ли?), Клингзор строил башню; эта башня есть череп: черепные кости сознания оплотневали в грядущем (шестнадцатым веком и философским «суб'ектом»); черепные кости сознания отрезали от сердца сошествие в него Голубя: рыцари об'явили войну Клингзорову замку.

Страшное деянье Клингзора — умерщвление «я» познающим «с у б'е к т о м»: оскопление духа жизни в сознании нашем, ведущее к ожирению, к брюху. Характерная черта Клингзора: скопец он.

73.

Форма познания — чаша — рассудок, поставленный в сердце для приятия духовного содержанья познания. Символика интуитивного акта дана здесь отчетливо; Александрийский период символики этой не знал; и в установке — запутался.

74.

Интуиция — храм.

В нем алтарь — наше сердце; и купол небесный — сознание; в интуиции человек внутри храма; не интуиция в нем, а он — в ней; познание здесь — литургия, творящая тайны; рукотворные храмы — намеки на то, куда надо войти, куда надо проснуться: мы спим, наши грезы о храме суть храмы, творимые рукой человека; храмовое творчество — жесты: напоминают они, а не учат.

Внутри храма познания человек есть служитель по чину Мельхиседека; но, выходя из него, он есть рыцарь, проводящий в руку сошедшее с Небеси; перестроение головы, руки, сердца его облекает в доспехи: у Него пернатая голова, защищенная латами грудь; и — меченосная длань; это новое тело его — Мон-Сальват; сознание нового тела есть Персеваль.

Соединение рыцарства и священства — вот то, чего ищем мы: соединение крылатой главы с сердцем — солнечным пан-

цырем; лишь от этого солнца чрез руку протянется луч; этот луч — острый меч, высекающий творчество.

Александрийский период в истории мысли стоит Амфортасом — с опущенной чашею, преждевременно изливающей свою солнечность в змеиное чрево; змея, протянувшись копьем, ему жалит сознание; истекает смертельная рана его; и он ждет — Персеваля.

Исторический Персеваль, как он выглядит у де-Троа и у Вольфрама фон-Эшенбаха — улыбка в грядущее. Грядущее — наше время.

Мы ждем Персеваля.

75.

Непосредственно к сознанию человека — над ним! — теология приставляет часть Неба: в кристаллах догматики.

Кристаллы — не небо.

Теология предварительно разрывает на-двое Небо: на постижимую (Небо в кристаллах) и непостижную части; первое, постижимое небо, стоит над главой на расширенных понятьях рассудка в неестественном употреблении их; неестественность обнаружена впоследствии нашей теорией знания; свободному сознанию человека, его живой части, не по себе — в на него нахлобученной части неба; он ее ощущает надстройкою; в схоластике он расшатывает надстройку; номинализм, реализм — разложение Небесных кристаллов в сознании; метафизика и новая философия видят: самое небо стоит на фундаменте сознания нашего.

В противовес устремленью к Свободе — опрокинутые над главой человека, как чаша, теологические Небеса падают на эту главу великолепною шапкой: тиарой; теология вынужденно облекает в тиару сперва; а потом в нее вдавливает; все движения — стеснены; мы — в футляре; мы — скованы; продолжается уплотненье оков... до железа; известная инквизиционная пытка — «железная дама» — футляр, изнутри истыканный остриями; и — человекообразный извне.

76.

Человек в истории бунтовал, разбивая футляры, вмененные буллами; и «ж е л е з н у ю д а м у» он выставил для обозрения публики в одной старой башне; я — был в этой башне; вы все в ней бывали; мы в ней пребываем давно; да — мы живем в башне; передвигаемся свободно мы в ней; но из нее не

выходим; выхода из нее мы не можем найти, потому что старинная башня — наш череп. Клингзор ее выстроил: над черепными костями, с веранды, — от нас гонит Голубя.

Мы ждем Персеваля: но жизнь внутри башни Персеваля, являет, как «blonde Bestie», — чувственно изживающим себя Господином — подчас в прусской каске; так он выглядит часто на западе.

На востоке Европы он — хлыст.

Есть край, где старый замок
В пучину бьющих вод
Зубцами серых башен
Глядит который год.
Докучно пролетает
Докучный рай минут:
Есть Королевна в замке.
И есть горбатый шут.

Пучина вод, бьющих в замок, есть кровь наша, жаждущая разлива Свободы; а замок есть ей угрожающий замок; Королевна — душа нашей жизни, как Кундри, в плену у Клингзора; горбатый шут есть Клингзор. Королевна ждет избавителя: скажет он,

Конем кидаясь в Солнце
Над пенистым ручьем,
Трубой играя в ветер,
Блистая в даль копьем.

Избавитель есть Персеваль.

Будет — бой.

77.

Человек не дошел до конца в дерзновении; стены башни — сознания — крепки; Клингзора боится тот рыцарь, кто в истории более всего бунтовал; рыцарь науки более всего боится Клингзора.

Человек современности в устремлении к чистой свободе да разобьет нависающий замок над ним и да вырвет сознанье из мозга.

Приемли, Королевна,
Спасение свое:
В железные ворота
Ударилось копье!

Королевна, душа, стук копья в стены башни давно уже слышит: и, предчувствуя бой Персеваля с «шутом» нашей жизни, Клингзором, боится чего-то: Клингзор нашептал Королевне, что этот стук есть стук смерти: выхождение за пределы черепа — смерть; самый стук из свободы воспринимает она, как старик Метерлинковской драмы, «L'intruse».

— Вы не слышали: там «стучат».

Смерть же, череп, — Клингзор — наклоняясь, ей шепчет о том, что последнее дерзновение — пробитие черепа: смертное.

Приемли Королевна,
Спасение свое:
В железные ворота
Ударилось копье!

78.

Сознание наше должно разорвать свои бренные, костные оболочки, а то «в о р о н» — суб'ект — заклюет наше «Я», закрепощая навеки в твердыне застылых понятий, бросая оттуда все жизненное в пучины. Человек наших дней есть ландшафт, изображающий край, опустошенный, унылый:

Есть край, где старый замок
В пучину бьющих вод
Зубцами серых башен
Глядит — который год.

Череп глядит в бездну жизни: понятие — в чувственность; ангелично иссушен наш мозг; мы иссушенным мозгом глядим в ожиревшее чрево — без воли к дерзанию.

Да, мы чувствуем наше рабство; и да, мы к Христовой Свободе — стремимся; но стремление без подлинного «восхищения Царства Божия» — силою — выглядит: оскоплением сердца в союзе с Клингзором; за Клингзором стоит Ариман, Мефистофель и—тьма; или стремленье к свободе осуществляет себя в утоплении сердцем ума, не развившего мощи, бескрылого вовсе; расширяется сердце наше; оно — пламенеет, но в пламени восстает нам змея, Люцифер: и — искушает хлыстовством.

79.

Два романа мои, «Петербург» и «Серебряный голубь», рисуют два ужаса не дерзающей до конца жизни нашей: освобождение в бессердечной Главе и в безумстве сердечном.

Аполлон Аполлонович Аблеухов убегает от жизни в «главу»: по ней, путешествуя, бродит он: но «глава» эта — желтый дом Аримана: разросшийся череп. И гонит безумие Сердца к свободе от мозга — Дарьяльского: он сгорает в радениях; из столяра Кудеярова на него глядит Люцифер: гибнет он.

80.

Наша свобода дерзает: над сердечным огнем возлететь к стенкам черепа и разорвать стенки черепа: Николай Аполлонович необходимость разрыва в себе ощущает: движением проглоченной бомбы; в нем нет воли к разрыву: в неволе разрыва и в противлении ветхой формы сознания жизни; сознание, да и самая жизнь в нем — кривятся: оттого-то сенаторский сын гримассирует на страницах романа; пришло время дерзания: если мы не воспримем его, все равно мы его ощутим: — ощутим проглоченной бомбой; над собою должны мы взлететь: не взлетим, — разорвемся.

Жизнь рвется: шатается.

Череп будет разбит: светлый Голубь пришествия спустится в отверстие наших разрывов: соединение головных и сердечных наук будет следствием схождения Голубя из-за мозга сквозь мозг на сердечный престол.

Чаша сделана будет. Персеваль: будет с нами.

81.

Рыцари, мистики и поэты «на западе» благословят Персеваля; от «Востока», от «прошлого» — благословят его: Заратустра, Манес.

Поведет же Христос.

Не узнанный, не узнавший Себя, Персеваль уже в нас: среди нас.

Рыцари философии, науки, искусства себя повторяют в истории: его гонят они с Мон-Сальвата.

Позовем же его: может быть, он — откликнется.

Задания Александрии — храм мысли; задания наши — храм мысли и — опыт строительства; но между опытом первым и опытом нашим — 15 столетий; в Александрии пытались выявить чистую мысль. И мы — тоже.

Мировоззрения, как кристаллы, слагались в растворе души; мировоззрения обгоняли друг друга, и — рушились; совершился решительный переворот в точке зрения, мировоззрение строющей; «мировоззрение» есть воззрение мысли на мир; противопоставила мысль себя миру; меж тем: мысль из мира возникла; и отрезаясь от мира, мысль сия мир изменила; и мир стал природою; мировоззрение стало природовоззрением, т. е., наукою о природе; неудивительно, что наукою оно было убито; «мировоззрению» не осталось места среди собственных отложений: наук о природе; и потому то оно в XIX веке превратилось в науку; и — стало: наукой о природе своей.

Перечисление двенадцати колонн храма познания (12-ти Кантовых категорий) и познанье того, каким образом каждая из колонн подпирает часть храма, — ученье о методах; методы — параллельны: мировоззрение — ныне учение о правомерности многообразия существующих взглядов на мир; храм познания сводится — к храмовой колоннаде; многообразие колонн, независимость их друг от друга, центральность, понятийность (ибо колонна — «понятие») — разрывает единство центрального купола; купол храма познанья разрушен рассудком; он — пал; и в месте купола ныне увидели бездну.

Так над куполом старым (рассудочным куполом) простирается ныне необозримо-огромный иной, новый купол: небесный; в обители мысли откуда то сверху подул вдруг порывистый ветер: то хлещут оттуда дожди, то мерцают там звезды, то солнце восходит.

Провалившийся купол есть знаменье кризиса — представлений о мысли. Узнание нового купола, увенчавшего стены и не подпертого ими — выводит из храма; и видим, что купол небесный — все небо над нами; и звездами бегает небо над всею землей; или — небо стоит, а земля кувыркается в небе; как бы ни было, — поняли несомненнейший факт: динамизм и текучую представляемость мысли: что стояло, то — бросилось с места, теперь сумасшедше вращаясь в нас; или «ясная мысль» с себя сдвинулась, замелькала; и стала

неясной: не «мыслью»; или мысль никогда не была тою самою «мыслью», какой ее видели мы; как бы ни было: кризисы огромны; поставлен вопрос: с-ума-сшедшие мы — сумасшедшие-ли, или ж — «ум», от которого отказаться приходится ныне, был просто «безумием», как «безумием» было строительство всей нашей жизни доселе?

Есть ли ключ к разрешению страшной загадки, которая в нас вперилась давно, но в которую мы до сих пор не вперились, не понимая ее разрушающей мощи?

Если ключ этот есть, то не надо-ли бросить все бренное, в чем живем мы доселе и что было сложено нами той самою «мыслью», которая оказалась «немыслимой», — бросить все бренное? Бросить — и броситься за ключем, отпирающим мысль? Кризис жизни есть кризис изделий «немыслимой» мысли; и чтобы выйти из «кризиса, надо выйти из мысли немыслимой» — к «мыслимой» мысли; и этою мыслью стереть непоправимые промахи.

Испытание мыслью есть первое испытание на пути посвящения в жизнь; и от кризиса жизни к строительству жизни ведет нас судьба через мысль; в испытании мыслью свершаются судьбы всей жизни.

Дорнах-Москва 16—17 года.

КРИЗИС КУЛЬТУРЫ

1.

Над зелеными струями Рейна отчетливы холмики; рейнские струи летят: мимо домиков, кустиков, холмиков, черепичатых крыш, проступающих грязно-оранжевым цветом в туманах, зареющих в воздухе; и — поднимается яркопламенный, яркокаменный Мюнстер; ярятся листы винограда (уж — осень); струей розоватой они распластались на серой, слегка пламенеющей башне, которая каменеет в пурпуровый воздух (в час вечера); миниатюрный дракончик бассейна раз'ял свою пасть — на ту праздную кучечку стертых, лиловых носов.

Это — Базель.

Он — город университетский, почтенный; университетская библиотека привлекает удобством пустыннейших комнат — обилием старых томов; я, над ними склонясь, утопал в прихотливейших арабесках Раймондсвой мысли, пытаяся сквозь «*Ars brevis*» и комментарии Бруно, проникнуть в «*Ars Magna*» капризного каталанского мудреца, трубадура и . . . мученика.

Базель — город университетский; но острое слово нигде не прорежет густого, тяжелого воздуха, пересыщенного испарением, и выхлестывающего из себя неизливные струи дождей: от октября и до мая (ужаснейший климат!).

Здесь слово — ползучее; клякло и тускловато прошлепав, оно упадет; вот зобатая кучка, глядя на закат, направляется в дымогары дешевого ресторанчика; тащится кривоногий кретин . . .

2.

Старый Базель чреват громким прошлым, чреват громким будущим, оседающим из окрестностей на него бирюзовыми куполами Иоаннова здания, к созиданью которого прикоснулся и я (неумело и робко).

Живя около Базеля два с половиною года, я понял, что именно здесь должны были слагаться фрагменты «Происхожденья трагедии»; именно здесь Фридрих Ницше был должен впервые почувствовать кризис культуры.

— «В тридцать шесть лет я опустился до самого низшего предела своей жизненности, — я еще жил, но не видел на расстоянии трех шагов впереди себя. В это время . . . Я покинул профессуру в Базеле . . . Рассматривать с точки зрения больного более здоровые понятия и ценности и, наоборот, с точки зрения полноты и самоуверенности более богатой жизни, смотреть на . . . работу инстинкта вырождения — таково было мое длительное упражнение, мой истинный опыт» . . .[1]).

Присутствие Ницше отпечатлелося в воздухе уху неслышимым треском: сентябрьская злость и сентябрьская солнечность навевают мне в Базеле мысли о Ницше; когда на заре я стою над зелеными струями Рейна, тогда, в отсыревшем, в грозящем дождями, мне шепчущем воздухе, слышу я явственно происхожденье трагедии: заболевание Ницше.

Расхождение с современностью, кризис культуры, переживает он здесь: и — глубокое разочарование в немцах; здесь видим мы, как старик, Яков Бурхардт, взволнованно тащится к кафедре, оторвавшись от книг: предостеречь молодежь от трескучих фанфар самодовольного империализма, как Ницше ему апплодирует, как он об'являет ряд лекций, затрагивающих культуру, как он умирает для Вагнера, как унижен, разбит он в надеждах; отсюда его увлекает сестра; здесь в 75 году посещает его угасание жизни; отсюда он пишет: «я тридцать часов под ряд мучился»[2]) и перевозят отсюда больного его ближе к горному воздуху.

3.

Здесь покоится прах величайшего из современных поэтов, угасшего рано; стоит над начатками новой культуры звездой, Христиан Моргенштерн; я имел величайшее счастье пожать ему руку; он был уже при смерти; и — на пожатье руки он ответил мне взглядом, которого не могу я забыть; говорить он не мог; повстречались мы в Лейпциге, на курсе лекций, разоблачающем тайну Грааля, и в городе, где получили когда-то

---

[1]) «Ecce homo». Перевод под редак. Ю. М. Антоновского. Стр. 7, 9.

[2]) Даниэль Галеви. Жизнь Фридриха Ницше. 1911 год. Стр. 144.

свое посвящение в жизнь Рихард Вагнер и Гёте (во время болезни); да, мне Моргенштерн — старший брат, соединенный со мною любовью к учителю; он — переплавленный всем существом прикосновением к духовной науке, — далекой звезде, еле брежжущей мне: Христиан Морген-Штерн.

Память явственно мне сохранила лучистые взоры огромных, лазуревых глаз, неземную улыбку, сквозную и тонкую руку, протянутую как . . . помощь в грядущее.

В те незабвенные дни я близ Лейпцига посетил прах того, кто мне долгие годы светил утешеньем, как был утешением он Морген-Штерну: прах Фридриха Ницше; (листики не умирающего плюща, мною сорванного с могилы, со мною); могилой родного покойника, родиной просветленного Гёте, огромною тайной о Граале, и встречею с Моргенштерном — вот чем блеснул Лейпциг.

Но острие моей жизни есть Базель: здесь так же страдал, как и Ницше, осознаванием глубины вырожденья в себе; здесь меня утренний свет Моргенштерна звездой путеводною вел через курсы духовной науки: к Иоаннову зданию — к двум куполам, бирюзеющим ныне; гремели глаголы учителя; и — современного Экхарта, Карла Бауэра, глубочайшие сужденья которого чту.

В этом Базеле, может быть, похоронил я навеки себя; но, может быть, здесь именно я духовно родился; воспоминанья о детстве мои, «моя жизнь» есть рассказ о моем отдаленнейшем будущем; в Бергене, где я увидел огромные молнии света; напоминанием Бергена передо мною прошел Моргенштерн; здесь же в Дорнахе (в Базельланде) мне на голову возложили терновый венец; и как Ницше, больной от мучений, бросался я в горы.

Кризисы современной культуры, приведшей к войне, гром войны и войну с своим собственным двойником пережил я под Базелем.

4.

В Базеле проживал Фридрих Ницше; он есть лезвие всей культуры; трагический кризис ее — в его жизненном кризисе: «Некогда с моим именем будет связываться воспоминание о чем-то огромном, — о кризисе, какого никогда не было на

земле, о самой глубокой коллизии совести»[1] . . . проговорила культура устами его; он взорвал сам себя; он взорвал в себе «немца»: «они для него не возможны»[2]); взорвал в себе «доброго», «ибо добрые не могут созидать: они... начало конца»[3]); он взорвал человека в себе — в то мгновенье культуры, когда достигала последняя необычайных размахов: «В тот совершенный день, когда все достигает зрелости и не одни только виноградные гроздья краснеют, упал луч солнца и на мою жизнь: я оглянулся назад, я посмотрел вперед, и никогда не видел я сразу столько хороших вещей»[4]).

Первое посещение Базеля (помню его, как сейчас) было мне в сентябре — в совершенные дни, когда явственно проступили мне контуры великолепнейшего «Евангелия от Марка», звучащие в лекциях Штейнера: «глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему» . . . этим гласом был Ницше.

Помню я Базель в те дни: виноградные листья краснели; и бросило солнце на жизнь мою луч; я впоследствии сам рассказал себе жизнь, мои первые детские опыты сознавания — в час, когда голос «Евангелия от Марка» гремел оглушительно над двадцатым столетием: все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне[5]).

— «Скажи нам, когда это будет»?[6]).

— «Когда же услышите о войнах и военных слухах, не ужасайтесь: ибо надлежит сему быть; но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство. И будут глады и смятение... Предаст же брат брата на смерть и отец детей; и восстанут дети на родителей и умертвят их . . . Когда же увидите мерзость запустения . . . тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; а кто на кровле, тот не сходи в дом . . . Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения . . . И если бы Господь не сократил тех дней, то не спа-

---

[1]) Ecce homo, стр. 114.
[2]) Idem, стр. 111.
[3]) Idem, стр. 118.
[4]) Idem, стр. 6.
[5]) Ев. от Марка: XIII, 2.
[6]) Idem: XIII, 4.

слась бы никакая плоть . . . И когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко»[1]) . . .

Я под Базелем сам себе рассказал свою жизнь, когда терны вонзались в чело здесь — в мучительном Дорнахе; громыхали орудия — там, из Эльзаса, оповещая весь мир о паденьи и разрушении зданий культуры.

Мне послышался голос того, кто страдал здесь, как я: «Политика . . . растворится в духовной войне . . . Формы . . . старого общества будут взорваны . . . Будут войны, которых никогда еще не было на земле . . . Я динамит . . . Я знаю свой жребий»[2]).

Рейн — бешеный в Базеле; здесь, опрокинувшись в струи, ткет ясное солнце златистые кольца, летящие, переливаясь и разбиваясь на струях — в окаменелые берега, населенные множеством нибелунгов, ведущих с богами упорные войны за рейнское золото: вся история капитализма, приведшая к ужасам мировой катастрофы и к гибели современной культуры — оплотневание солнечных блесков, играющих на поверхности вод; возвращение золота Рейну и есть возвращенье богатств, принадлежащих природным стихиям, — природным стихиям.

И Ницше, увидевши ценности в золоте, из которого отливали в Германии императоров и полководцев, отверг это золото; оплотневшие ценности, золото, он заклинал отдать водам, провидел он золото Солнца там именно, где для нас само солнце — тяжелый и косный металл.

Он пытался быть Зигфридом: есть легенда, что Вагнер, осознавая героя, зарисовал в нем черты экс-профессора Ницше, поднявшего над Европою на рубеже двух эпох страшный меч: меч духовной войны.

«Я хожу среди людей, как среди обломков будущего: того будущего, что вижу я»[3]).

— «Я благостный вестник, какого никогда не было, я знаю задачи такой высоты, для которых до сих пор недоставало понятий; впервые с меня опять существуют надежды»[4]).

---

[1]) Idem: XIII, 7, 8, 12, 14, 15, 19, 20, 29.
[2]) «Ecce homo». Стр. 114, 115.
[3]) Фр. Ницше: «Так говорил Заратустра».
[4]) Фр. Ницше: «Ecce homo». Стр. 115.

5.

Вечные книги — источники: между двух животворных глотков из источника книги протянется промежуток из лет; открываешь страницу: кастальские струи вскипят меж строками; и — хлынув на стол, водопадом стекают; вся комната топится струями; волны, разбивши стекло, тебя пенно выносят наружу; ты с ними, струясь, побежал по камням, умножая лучистые блески и бездной алмазов швыряясь в прибрежие; живо текущее слово, создавши над брызгами радугу, выростает воздушно архангелом, перекидывающим мосты от земли к небесам.

6.

Три книги «сопровождают меня»: «Евангелие», «Заратустра» и «Путь Посвящения»; ежедневности расстилают пески, где ключи не кипят; переменяю обители я; передо мной пробегает Сицилия, но со мной «Заратустра» . . . забравшись на плоскую крышу глухой подтунисской деревни, рассматриваю, как на площади подо мной бирюзеет бурнусами кучка арабов в бирюзоватую, африканскую ночь; и глухое рыданье «там-там»-а[1]) напоминает пустыню; со мной — «Заратустра»; средь льдов многозорной Норвегии, где пурпуровый мох покрывает зеленые благородные камни, где я подбираю с полузамерзшего озерца рог олений — и там: «Заратустра» со мной; он со мной — в многошумном Париже, в ужасном Берлине; передо мной прогоняются: Иерусалим, и Каир, Петербург и Москва, Кельн, мне памятный Брюгге, приветливый Брюссель, таинственный Нюрнберг, Христиания, Копенгаген, зубчатая Прага, задумчивый Страсбург, хохочущий Мюнхен; меняются страны; но неизменная точка со мной: «Заратустра» со мной (путешествовал прежде со мною и Кант: возить за собой его тяжко; я — бросил его).

Путешествовать мне хорошо с непеременчивым центром; мое дорогое трехкнижие — он; каждый город во мне отлагает свой дар; хризолит отдает мне Норвегия; и бирюзою во мне отливается Мюнхен; сквозной хризолит, бирюзу и берилл (Копенгаген), как дар, подношу к дорогому трехкнижию я; преломив, мне оно отражает меня: у меня самого. Мне оно —

---

[1]) Арабский инструмент.

словно родина: обетование об окончании странствий; приподнятым над собою самим нахожу себя в нем; и — себя самого у себя самого проверяю — в кастальской струе, бьющей здесь, меж страницами; все мелькнувшее мне, все, упавшее в недра мои, здесь опять выбивает наружу: зелеными струями прядают хризолиты Норвегии; и голубые, струят свои сны бирюзы; было подлинно солнце, — струя золотая; был град на душе, — свинцовеет струя.

7.

Все великие книги прозрачны и живы; они оживают, как свеянные создания из переливчатых искр: знаете ли вы состоянье сознания мысли, себя напрягающей до появления искры из глаз? эта искра блеснет между вами и праздным предметом, в который вперились рассеянно вы — как то вдруг: просиявши, погаснет; послушайте, размышляли ли вы до блистающей «и с к р ы и з г л а з»? Если — нет, рассмеетесь наверное вы надо мною; но вы не философ тогда; философия есть живая страна, преисполненная невыразимых ландшафтов, где видимый мир отлагается зернышком в мысли: стране философии, как земное, горящее сердце какого-то электрического существа, распростертого от вселенной к вселенной; существо размахнулось огромными крыльями; тысячи светоливных очей смотрят внутрь; и — кричат ясным светом:

— «Я!»
— «Я!»
— «Я!»
— «Я!»
— «Я!»

Это множество «я» есть текучее множество в мысли архангела: архангеличны все мысли...

8.

Коль будете вы размышлять на все ту же исконную тему, то размышления месяцев соединятся; блеснет ощущение: будто вы возвращаетесь, например, по утрам к той и той же работе, ее продолжая; и — между двух размышлений проходит размеренный день; пусть течет его злоба: в него не войдет чувство мысли; и не сместит распорядка обычного дня: деловитее и трезвее вы будете; в миг размышлений — забота отхлынет.

Соединятся для вас размышления утр, превращаясь во взрывы колодца из мыслей; и будет однажды огромнейший миг, когда брызнет источник воды в глубине размышления; и, расширяя колодезь из мысли (до искры из глаз), вы увидите глубину протекающего источника мысли; он брызнет мгновенно: вольется в обычные мысли; и тронутся мысли; и вас поведут за собой: простроитесь вы в мысли; не скажете больше: «я мыслю», но скажете: «Мысли, себя измышляя, меня помышляют»: я — мыслим теперь иерархическим существом; наблюдение, описание происходящих процессов, их точная копия нарисует мне страны Феорий, бросающих тени, где я обвожу тени углем на белом картоне моей восприимчивости; когда называете вы себя теоретиком, я бросаю вопрос: были ли вы в стране мысли?

Мы жизненных мыслей не знаем; обычные мысли — не мысли: они — инструменты, которыми мы буравим тяжелые толщи до встречи с подземным источником, вылетающим струями артезианской воды из расщепа понятий.

Обычная логика — жалкий участок земли, на котором мы, собственники, обыкновенно сажаем лишь «овощи» предрассудков.

А вечные книги — ни почва, ни овощи: струи они; и они подмывают устои, рвут буквы и строчки страниц, выбивая фонтанами и унося через окна: в безмерности космоса.

Мы не знаем источников, пересекающих все участки размеренной мысли: под почвою мысли; впечатление, ждущее нас у источников мысли — ни с чем несравнимо: —

— вдруг мысль расширяется; переживающие расширение это испытывают катастрофу, грозящую их повергнуть в болезнь; им кажется явственно: собственность мысли утрачена; мысли, замыслив себя, начинают дрожать, копошиться и бегать в извилинах мозга, как многое множество муравьев муравейника; из бесчисленных ходов они выползают: ползут за добычею; вновь возвращаются.

Мысли мыслят себя: мысли вырвались из обычного круга сознанья; он — рвется потоком клокочущих образов; топится стылое «я», растворяясь в мысли; «я» — схвачено, вырвано, унесено, при попытке вернуться и вынырнуть на поверхность, оно попадает в чужое сознание.

Опыты упражнения с мыслью перемещают границы сознания и научают, ныряя в источники мысли, вынуривать: в ближнего; переживать в его «я» и ему говорить:

— «Я есмь ты».

Научают, ныряя обратно, опять возвращаться в свой мозг, смутной памятью о состояньи сознания, смежного с вами (извне обведенного черепом); и ясномыслие это растет.

9.

Рассуждения о культуре у гениев — обостре́нны до крайности; и выражаются в кончике идейного лезвия: в афоризме, — сжимающем библиотеки . . . ненаписанных книг, приподнимая завесу над будущим.

«Происхожденье трагедии», например, — афоризм; в нем глаголет д у х в р е м е н и ; горний глагол непрерывен; и Ницше расслышал случайную фразу его в новом взгляде на Грецию; сколько осталось непонятым Ницше! Умей мы подняться на кручи XX века, покажется нам, будто истины этого века принадлежат XV веку; воистину, нет ничего величавее современных событий; под ними, увы, разумеют далекое прошлое, переваренное желудочным соком ничтожных душонок; «продукты» культуры, в которой живем мы, — суть отбросы.

Мне предстоят рои истин; они — только холмики, от которых встает горный кряж современности; но современники холмики эти, увы, признают «горизонтами будущего»; в худшем случае называют они эти давности истин химерою; что сказали б они, если б подлинно «современность» предстала б их взору? Меня осмеяли когда-то: теперь опираются часто на книги мои, вызывая во мне инстинктивнейший жест: о т с е б я с а м о г о о т к а з а т ь с я ; воистину — книги мои лишь рассказ о «предметах», доступных вниманию каждого; но к наблюдаемым фактам внимания нет.

Говорил я когда-то: «посмотрите: вот туча», — смеялись; и вот проходили года: разражался громы; и вместо того, чтоб поверить «п р е д м е т а м» моих наблюдений, мои почитатели расставляют теперь тяжелейшие томы: вот здесь — «Символизм», а вот там — «Петербург»; — горизонт моих видений прочно закрыт от их взгляда: моими страницами; на горизонте сознания — новая бурная жизнь: солнце всходит, заходит; и зори блистают, и тучи встают; то, чему говорю: «современность», является химерой для всех.

10.

Лет чрез двадцать — откроется, что: Августин — протестант; и в нем нет католичности; через него изливается в средневековье Плотин; он таит в себе «Фауста», Гёте и «Вагнера-Канта»; в нем — вздох фуги Баха; тончайшее сочетание «современностей» поздней эпохи уже современно: в начале эпохи; наши дни затаил шестой век; Августин с ним сравнялся: все прочие отставали от времени.

Вся борьба с манихейским учителем, Фаустом, в Августине была не победой, она продолжалася [1]); и побеждала сознанье его; ею сражен в подсознании он.

11.

То, что принято ныне, как истина, духом событий культуры отвергнуто.

Принято связывать возрождение с мистикой: гуманистам предшествуют мистики-де; знаменуют они: умаленье схоластики, — т е м н о г о п р о ш л о г о мысли; но это т е м н о е п р о ш л о е в изысканиях нашего времени — свет; преклоняемся мы перед светлыми вспышками абеляровой мысли.

И мы отмечаем: гонения, сплетни, интриги Бернарда Клервосского, мистика вдохновителя крестовых походов, родоначальника мистической школы монастыря Сен-Виктор: Гуго, Бернард в нашем взгляде суть более мистики, нежели «мистики» Экхарт и Беме: последние — более «оккультисты», «ученые» и «мыслители», нежели, мистики; «пря» с теологией в мистике — видимость мистики; право: задания теологических «оформлений» размежевалися в сущности дружески с «углублением» мистиков; так, разорвав небеса на две части (на постижимую и непостижимую часть), принимаются: теология — оформлять постижимое небо; и мистика — изживать непостижности непознаваемой части.

Схоластика, отрицая разрыв неба на-двое, провозглашала свободу его постижения; против свободы схоластики теология с мистикой заключили коварный союз; и схоластика обломалась в «томизм»; до томизма — струя возрождения в ней; и — семнадцатый век уже явно загадан — в борениях метафизической совести Абеляра, где Августин закипает свободою духа.

---

[1]) Contra Faustum.

Но Августин — не святой, а «блаженный» (весьма характерная сдержанность со стороны всех католиков, иезуитов, теологических крыс, для которых, конечно, весьма подозрителен он); и родись он позднее, постигла б его участь Луллия. «Ars Lulliana» покрыла Европу; и дело Раймонда считалось святым; но позднее еще книги Луллия — сжигались католической церковью; Бруно, великий поборник Раймонда, недаром сожжен на костре; в нем сгорает для церкви схоластика, с родоначальником, с Августином.

Для церкви и он — протестант.

Протестантизм — сокровенней струи своей: Лютера; бьется во многих источниках он, пробиваясь струями в каменистой, безрадостной почве шестого, девятого и десятого века; он крепнет в двенадцатом веке еще; бьет источником итальянской культуры, врезается гравировальною линией Дюрера; ему имя — есть «христовство».

«Жена, облеченная в солнце» и есть: христианская община первых веков; на протяжении ряда столетий сжимается официальною церковью эта жена вокруг нас, чтобы стать «нюрнбергскою» дамой, «железною» дамой: известным орудием пытки (футляром, истыканным остриями внутри); вне футляра, вне церкви, вне самой ограды ее разблисталась теперь нам жена, облеченная в солнце: Мадонна Италии: «жественность» женщины; видим вне тесной церковной ограды блистание красками религиозных основ человека, где «Он» непостижно вписуется в сердце людей и выражает вне церкви: преображение человеческого подсознания до слиянья его с существами космических сфер; это видим мы в Беатриче у Данте, в «Мадонне», в «Христе» Леонардо-да-Винчи; «Христы» и «Мадонны», как люди, блуждают средь нас на полотнах и фресках Италии, переливая свой красочный импульс не в явную церковь, но в тайную, сокровенную церковь, которой невскрытое имя — «культура»; оффициальное христианство вступает в борьбу с тайно вписанной Христоносной свободой: с «христовством» культуры, в которой — эта тайна Христа — выражается явно: в многообразии искажений (как в нашем «хлыстовстве»); борьба «христианства» с «христовством» — вот лозунг борьбы: Возрождения с инквизицией (эта выступит после); загадана невероятнейшая возможность: преобразить до «мистерии» жизнь; и борьбою общественных отношений вступает в сознанье «мистерия-драма», которой конец — впереди: только в Сол-

нечном Храме грядущей культуры увидим преображение жизни; четыре сословия заговорят голосами вещающих четырех гиерофантов культуры; в мистерии Штейнера видим мы: Солнечный Храм; Бенедикт, Теодозий, Роман и Ретард — гиерофанты — стоят друг пред другом; и — представительствуют от лица человечества [1]).

Солнечный Храм — впереди; этот солнечный храм или «град» разблистался отчетливо: в Александрийском периоде мысли; и после блеснул он в Италии: «Civitas Solis»; но «Civitas Solis» осуществило себя, как imperium в Риме; в Италии Град этот солнечно проблистал в архитектурных заданиях Микель-Анжело (в неудавшемся Ренессансе архитектуры Италии); его деградация в Маккиавелли; его символизм — «социализм» Кампанеллы.

12.

Доселе «христовство» есть стимул культуры. Интимное этой культуры — сказать, что в простой Форнарине таинственно действуют силы Мадонны, что в Фауста вписаны тайно великие силы Христа, этот срыв человеческих сил (или — грех) может быть силой нежности, силой любви, не нашедшей русла.

Характерно: Христос что-то молча чертил на песке перед грешницей; то, что он тайно чертил, стало явным намеком: в культуре Италии; сокровенно оно пролилось в «протестантство«; неузнанно: руководило историей бунта культуры в борьбе его с церковью.

Грядущее (может быть . . . двадцать пятого века) прополыхало в пятнадцатый век; луч луча — Ренессанс; а звезда, предварявшая «л у ч л у ч а» и невидимо осиянная им — та звезда восходила от первого до четвертого века в . . . Александрии.

13.

Мысль античного грека уподобляема образу; еслибы уплотнили его, то восстали бы: Аполлон и Венера, но еслибы уплотнили мы мысль Александрийского грека, — восстали бы образы великолепной Италии; в Александрии случился огромнейший выпрыг из мысли античности; он перед нами — леса, обстающие Солнечный Храм (или Град); недостроенный Храм,

---

[1]) См. Мистерию «У врат посвящения».

ими скрытый («идея» Плотина) — Мадонна; «единое» пятого века до Р. Х. — Apollo; «единое» третьего века по Р. Х. — Христос «Тайной Вечери» Леонардо-да-Винчи; между обоими — в промежутке столетий: ужасные корчи страдающей, крепнущей мысли, запечатленные судорогой Александрии иль — «Страшный Суд» Микель-Анжело, где разгневанный Аполлон (иль Христос) обрекает на суд обреченное тело; волна сожигаемых тел есть упадочность; одновременно: свет внутренний, проедающий тело, до . . . духа; и проникающий в дух.

Корчами Александрийской культуры сказались чрезмерности культа личности Италианского Ренессанса; и тайным светом блистает в пирах этой жизни «христовство» культуры, грядущей на нас; где «пиры» станут «вечерей тайной», куда придет Гость: человек в человеке; Он — ныне Неузнанный, странствует в нас; и мы, странствуя, ищем свидания с Гостем.

Культура истекших столетий (с XVI по XX) — странствие; «странник» ее выразитель.

В Борджиа, в Медичи, в оригинальнейших контурах пап (Николая, Льва, Юлия), в утонченьях, в «синкретизме» пиров Ренессанса нет странствий еще: здесь на празднике созревает трагедия пресуществляемой личности; скоро и в ней обнаружится Человек (Фауст, бледный Гамлет и Манфред); скоро радости пира развеются; зала пира окажется: колдовским погребком, нас встречающим в «Фаусте».

Фауст — спасается.

14.

Вся трагедия Ренессанса разоблачаема Фаустом: «Фаустом» Гете; но распадается в «Фаусте» Фауст (последняя сцена) на . . бренные пелены, подлежащие истреблению пламени («Und wär er von Asbest, er ist nicht reinlich») и на . . . воскресшего к жизни духовной; и с высей духовного мира мы видим, что Фауст, покрывший шестнадцатый и семнадцатый век изобретеньями Галилея, Коперника, Кеплера, живоносно протек в миры духа сплошной музыкальной стихией: источником, Бахом; и оживление северной части центральной Европы струею Италии, есть оживление Фауста, верного Господу[1]), духом научного творчества; тайное этого творчества: «бах» музыкальный ручей.

---

[1]) См. в «Фаусте» Гёте «Пролог на небе».

Этот «б а х» явлен после, как... музыка Баха. Что я говорю, знаю я — парадоксально до крайности: только этими парадоксами можно коснуться огромной, невскрывшейся тайны культуры Европы; то, что я подсмотрел, есть громада невскрывшихся отношений между научною, эстетической, философскою и религиозною жизнью Европы истекших столетий; я знаю: содержатся здесь библиотеки ненаписанных книг; но, когда они будут написаны, то со мной согласятся. «Имеющий уши пусть слышит».

15.

В Бахе явлены импульсы, животворившие культуру Европы со времени Августина до нашего времени; переворот совершился: осуществился внутри христианства: ручьи живоносного импульса, Бах, артезианскими струями пробиваясь наружу, лиются; наукой, искусством, кипением Ренессанса наружу.

«Христовство», как импульс, сочилось сквозь сеть кровеносных сосудов громадного организма Европы — вне церкви и догматов; брызнуло; артезианскими струями; вышло наружу в легенде о Граале (двенадцатый век); оставалась сеть высохших русл; животворявшие струи, изсякнувши в руслах, пробились наружу; тогда обнаружились русла, как форма ушедшего импульса (импульс теперь оживлял в другом месте ландшафта души); опустошенный ландшафт, форма тайного импульса — готика; или — каркасы соборов.

Соподчиненье о ж и в[1]), убегающих к центру—соподчиненье сосудов (артерий у вен кровеносной системы души); в готическом творчестве, в Страсбугском, в Аахенском, в Кельнском и Реймском соборах напечатлелися в камне боренья души Августина; так, тайна шестого столетия, современность его, стала явью в пятнадцатом веке; соборы — каркасы души Августина: себя сознающей души.

Философия Греции — жизнь души рассуждающей; архитектурная форма ее — колоннада и портик; на стройных колоннах стоит треугольник: вот форма храма Эллады; вершина его символизует «единое» Парменида, Платона и Аристотеля; а колонны — понятия (категории Аристотеля).

Философия нашего времени — философия самосознающей души; эта душа современности пробудилася в Августине вперед

---

[1]) «Оживальная» арка — существенный штрих готической архитектуры.

вые; игра ее жизни сложила в пятнадцатом веке уж совершенную архитектурную форму: готический храм; и сложив, исструилась из формы (из церкви) в бесформенность, в бунт закипавшей культуры Европы.

Что вышло из формы? И что исструилось из храма, из церкви — в культуру?

Певучая музыкальная фуга.

Так: Аахенский, Кельнский и Реймский соборы — застывшие фуги; определение музыки Шлегелем (архитектуры в течении) математически точно.

Где некогда бился таинственный импульс схоластики, уже в пятнадцатом веке увидели иерархию взлетающих арочных дуг: фугу арок; на рубеже меж семнадцатым и восемнадцатым веком мы видим уже и дальнейшее оформление импульса, или снятие с него новых печатей; печати те: музыка мысли (новейшая философия); и — мысль музыки: Бах.

Можно прямо сказать: философия нового времени — музыкальный разлив и градация монументальных соборов; это — пророст шестого столетия, явь сокровенного импульса жизни: Cor Ardens.

Когда-то все то билось в пламенном сердце «единого»; этот единый есть Павел (апостол); его ученик — Августин; из Августинова пламени сердца свои протянуло лучи древо нашей культуры: схоластика, готика, музыка, мысль.

Августин есть неузнанный пламень всей светской культуры: и Фауст рождается в нем.

Принимая в себя бессознательно «Фауста» Гете, сознанием явным своим ожесточенно он борется: с манихейским учителем — Фаустом.

Так идет его дело в веках от учителя Фауста — через Плотина, апостола Павла, схоластику, готику, Баха, чрез всю философию, к «Фаусту» Гёте.

Das Unbeschreibliche
Hier ist getan.

16.

Парадоксально сказать: из Плотина течет величавая форма позднейших соборов; здесь арки и дуги суть струи: источника музыки; где-то там, на вершинах Плотинова духа «е д и н о е» мысли его, как игла, проколола Платоново небо идеи; в отвер-

стие мысли, свергаясь, протек прямо в кровь человека: экстаз интуиции; в за-экстазной дали открывалось« В и д е н и е» Павла. И школа Павла в Афинах запечатлела градацию низлетающих струй Божества: в описании ангельских иерархий[1]); это все, ниспадая на нас, оживает, кипит в ярко-пламенном Августиновом сердце; оплотневает рассудком (схоластикой), массивами камня: соборами, готикой.

Если бы философеме Плотина дать плоть из камней, перед нами б восстал: собор Страсбурга; то, что еще не остыло (в рассудке и в камне), то вытекло из готической формы — хоралом и фугою; и продолжало струей прорываться сквозь кровь человека.

Из Баха повытекла музыка; в Бахе вспоен весь Бетховен.

Струей мусикийской истек живоносный источник из первого века; его отложения суть государство и церковь: — он сам отложился «к у л ь т у р о й».

Культура — зеленая поросль над струйкою религиозного, нового импульса. И этот импульс — Христов.

Оплотнение импульса видим отчетливо: в Александрийской культуре; ее оплотнение — Рим; здесь е д и н о е всей синтетической философии оплотневает в е д и н с т в о огромного государства, в котором пытаются слить синтетически многообразье народных культур; только с первого века слагается образ огромной Империи.

Мировая Империя, Рим, — оплотнение: искаженный каркас Александрийского синтетизма.

Парадоксально сказать: государство воистину преждевременное оплотнение музыки; здесь мистерия человеческих отношений, свобода развития их, контрапункт изменений, рассудочно зарегистрирован к а к з а к о н и к а к д о л г и потому-то мы можем сказать, что з а к о н, д о л г и п р а в о с категорическим императивом — продукты, конечно же, государственной философии; философия Канта являет собою отчетливо: империализм страны мысли; рационализм философии нового времени — коренится в этическом п р и н ц и п е мысли; он — «Рим» страны мысли; и этот «Рим» оковал умы немцев-философов.

То, над чем поработали школы Плотина, Филона нашло искривленное приложение к жизни: в работе гигантского Ав-

---

[1]) Дионисий Ареопагит.

густа, осуществившего для непонятой тайны души социальный каркас. Между сошествием Логоса в души людей и заданием Цезаря Августа этого времени: тайная связь.

Но смещение перспективы здесь явно.

18.

Тайное Александрийской культуры влилося и жило под почвою «Рима»: оно — катакомбно; воистину можно сказать, что imperium взорвано катакомбою; она вышла наружу, как Церковь; то место, где некогда император построил храм Митры (в Александрийский период культуры), теперь увенчалося: Храмом Святого Петра; то, что вышло из недр, оплотнело вторично; теократический принцип, подобно imperium перемешал перспективы: и церковное Государство разорвалося, как «Рим»; но в разрывах, как прорези ярких готических окон, опять-таки брызнули: Александрийские импульсы — Возрождение; и — разблистались солнечно невыразимою тайною рафаэлевской краски.

То, что вытекло краскою из каркаса догматики, было действием импульса Александрийских экстазов в крови человека; переселенье Плотина с востока Египта на запад и в «Рим» — глубоко символично; Плотин — вдохновитель поэзии более позднее; «Рима» (в века Ренессанса); он — «римский» философ; Александрия таинственно перекинула мост через море: в Италию.

Это она рассветила Равенну блиставшей мозаикой; она пролила сквозь железное папство лучи свои, солнечность: „Civitas Solis“ Италии; встала культурой искусств, «Рафаэлем».

Но более ранний каркас диска солнца ее — медный щит; меч тяжелого, римского воина — искаженный намек: луча жизни Италии.

19.

В поздней Европе отчетливо видим: перекрещенье культур.

Одна линия — линия рассудочной мысли: от Греции... к Франции; от классической драмы к непонятой «ложно классической» культуре искусств; от демократии, республиканского строя и общины к новым попыткам создания демократической жизни, к «коммуне». И отчетливо видится линия: Александрия, Италия, (Рим, Ренессанс); эта линия далее намечается: истечением красок Италии к... Дюреру; мысли Италии

к горному кряжу новейших «германских» систем философии; «меча» и «щита» к... прусской каске; Александрия, протекши в Италию краской экстаза Плотина и светом «Видения» Павла, перетекает в Германию музыкой «Баха»; но над руслом философий, поэзий и музык Германии, где содержится тайное солнце когда-то упавшей культуры, — уродливо возникает смещающий все перспективы каркас: пангерманец.

Произведение империализма: все-немец; произведение тайного импульса солнца — сверх-человек Заратустры; религиозная антиномия Александрийской культуры (Христос или Кесарь) в Германии подменяется ныне культурною антиномией между Ницше и Бисмарком.

Александрийская солнечность, «музыка», неповторяемый «Фауст» — все это теперь воплотилось: в единственном, в Ницше. Imperium, щит, каска, кантовский «кнут» императива морали (иль „eiserne Handschuhe") — Бисмарк; и Бисмарк стоит перед Ницше, как страшный двойник устремлений его.

Империализм, закон, «кнут» есть тот карлик сомнений, тот «Нибелунг» Мимэ, которого Ницше всегда ненавидел, с которым боролся; и от которого Ницше погиб.

20.

Культура Германии протекает с высот Ренессанса Италии: Бахом; в слетающий свыше (от ангелов) фуге поют иерархии Александрийской символики; Бах для музыки то же, что Данте для поэзии; оба — лучи Александрийского солнца; Бетховен есть отблеск неба в кипениях пены бунтующей крови; она закипает, как бунт, перегретая солнцем, упавшим в нее.

Путь дальнейшей культуры — перерождение крови; и — окрыление крови; кровь станет, как облако; бунт романтизма, индивидуальность и рост ее, — это весенние бури, топящие лед: перед летнею ясностью.

Но эти бури в себе мы несем, как трагедию умирающей личности, долженствующей стать индивидуумом, человеком, свободою.

Мукой трагедии полнятся: Шуман и Шуберт.

21.

Недостаточно видят значение песенных циклов: подобно «Мадонне» Италии и «Христу» Леонардо стоит перед нами

непонятый песенный цикл: „Winterreise“. Франц Шуберт идет перед нами непонятым странником; позади его — бунт, где он, Савл, уподобляясь «Заратустре», разбил музыкальными звуками форму единой «симфонии»; в песенных брызгах она; но из «мозаики» песен слагается путь; кто имеет дар звука, тот слышит, что путь — «путь в Дамаск»; путь к видению, к «Вечери» Леонардо-да-Винчи под явною ночью, зимою — горит: полуночное солнце.

От прошлого «пира» к мистерии будущей «Вечери» через пустую зиму — путь в грядущее нашей культуры; оставленный пир — Ренессанс, Возрожденье, земная весна и земная любовь.

Непонимают niveau „Winterreise“; подножьем его служит цикл неповторимого Шумана: «Dichterliebe»[1]), где лирическое напряженье любви, разрываясь в трагедию, убивает земную, до дна потрясенную личность; и «великаны» порывов хоронят ее.

На вершине любви — смерть и ночь: от вершины чрез холод пространств начинается путь „Winterreise“ — загробное странствие странника; или — хожденье души по мытарствам.

Воистину: кто проследил в своем духе связь песенных циклов, кто понял, что следствием «Dichterliebe» является „Winterreise“, тот понял единственный путь: от человека Италии к человеку, укрытому в нас под холодными коростами современной, замерзшей культуры, к... Грядущему, к нам в нашем сердце таинственно Гостю.

Проходим ландшафт, оживляемый криками ворона; крики культуры, иль «вороны» — то «единственный» Штирнера, то «несчастнейший» Киркегора, то «сквернейший» поэмы новейшего времени «Так говорил Заратустра».

И «Заратустра» есть странник. Слушая леденящие звуки одной песни цикла, „Die Krähe“, мы ведаем явственно: эта птица, кружащая, — не в о р о н а, а посвятительный ворон; мы знаем, что «ворон» есть стадия посвящения древне-персидских мистерий; ворон есть личное «я», в нас клюющее, дух; видеть «в о р о н а», стать над «в о р о н о м» — разоблачить в себе «личность»; и — умереть в личной жизни; мы ведаем: посвящение — тайна трагедии; жизнь — тайна смерти. И слушая звуки «Die Krähe», мы видим: мистерию одинокого «Заратустры»

[1]) На слова Гейне.

бредущего: от востока на запад; и вдруг — обращенного на себя:

Eine Krähe ist mit mir
Von der Stadt gezogen

Из «града» умершей культуры воронья зловещая тень все-то тянется, заслоняя пространства духовного мира. Мы видим ее.

Здесь — предел одиночества; это — последний уступ человеческой личности, к «человеку», живущему в ней сокровенно; притти к «человеку» в себе невозможно без смерти; что нас убивает, в нас истинно видится, как нападающий «ворон».

Линия личности, линия времени в нас загибается кругом: змеею кусает свой собственный хвост.

22.

В музыкальной структуре у Шуберта — солнечный свет рафаэлевой формы; отдельные песни — мазки; но градация их — совершенная шкала нюансов.

Так формою цикл „Winterreise" пронизан, как тайным, невидимым солнечным градом; здесь „Civitas Solis" — посередине «я»: в «я»; края «я» (или «личности») — все разорваны; умерло в них «я» страстей для «я» жизни.

Слушая цикл «Winterreise», мы чувствуем, что потеряна почва; и что должны что-то выстроить мы в тех местах, где уж нет ничего; нисхождение, мертвая ночь перед нами; зима, крики ворона; и туда простирается путь: через мертвую улицу мертвого города.

Eine Strasse muss ich gehen,
Die noch keiner kommt zurück [1]).

Все-таки: в умирании странника — зов; именно здесь, в этой песне, в „Wegweiser", таинственно слышится вдруг: хорал Баха; и нам проступает в отчаянье зимнего странствия звуком опять: Заратустрово солнце, «Видение» Павла, «экстазы» Плотина, цветочки Франциска и музыкальные струи души Августиновой.

Что то твердит нам:

---

[1]) «Wegweiser».

Die Sonne schaue
Um mitternächtige Stunde.
Mit Steinen baue
Im leblosen Grunde.
So finde im Niedergang
Und in des Todes Nacht,
Der Schöpfung neuen Anfang
Des Morgens junge Macht[1]).

23.

Творчество нового дня начинается муками, ужасом нисхождения; в повороте внимания на себя посещает нас смерть.

Eine Strasse muss ich gehen,
Die noch keiner kommt zurück.

Эта Straße — пути нисхождения Шумана, Фридриха Ницше: в безумие; здесь неузнанной остается: полуночь. Звучит — Mitternacht; то — неузнанный, путь посвящения; тень «Заратустры» — подкравшийся карлик; и Заратустра, иль странник, увидев его, содрогается: «не высоты пугают, а склоны»[2]); полуночь в сознание Ницше входила: неправдой повторности.

Карлик разил Заратустру:

— «О, Заратустра», — раздельно шушукал он — «бросил высоко ты сам себя в воздух; но всякий брошенный камень — должен упасть»...[3]).

— «На избиение сам себя осудивший: о, Заратустра, ты высоко бросил свой камень, — но брошенный камень упадет на тебя»[4]).

Карлик еще говорил:

«Лжет все то, что протянуто прямо... Всякая истина выгнута: самое время есть круг[5]).

В прямолинейном движении — половинчатость лжи; но и в нем: половинчатость истины.

---

[1]) Стихотворение Рудольфа Штейнера.
[2]) «Так говорил Заратустра».
[3]) Idem.
[4]) Idem.
[5]) Idem.

«Путь» в «Winterreise» линеен; и полон дурной бесконечности; каркают вороны о бесконечности странствия; о бесконечном страдании, одиночестве «я»:

Eine Strasse muss ich gehen
Die noch keiner kommt zurück.

24.

Мыслим контрастами мы.

Вызывает в нас линия мысли о круге; и безвозвратность приводит возврат. Но и линия и окружность — неправды.

В спиральном движении правда.

Неправду прямого движения выявил карлик; и уловил Заратустру в неправду окружности; вечным возвратом его подстрекнул; Заратустра поддался невольно коварному подстрекательству:

— «Все, что бегает, не пробегалось ли по этой дороге, не проходило ли все, не случилось ли, не было все, что может притти»[1]).

После этого Заратустра уходит из гор: опускается к морю; в горах — озарение мыслью; на море — кипение образов; так возвращение Заратустры подобно: падению с гор.

Утверждение повторения — поворот Заратустры на тень Заратустры. Перекликается странствие Заратустры здесь и песенным циклом огромного Шуберта; и окончание «Winterreise» встает; окончание «Winterreise» — во встрече с шарманщиком; это — странный старик (может быть, «Вечный Жид»); крутит ручкой шарманки.

Не там ли, где встал этот вечный шарманщик, линейная эволюция переходит в круги; круговое движение вертит; головокруженье, vertige, начинается именно здесь.

Сумасшествие именно здесь нападает на Фридриха Ницше.

25.

Здесь кончаются русла культуры; по ним живоносный источник протек: от второго и первого века; и до двадцатого века; тут он иссякает, тут снова должны мы свершить поворот; осознать в себе импульс; в сверхчеловеке должны опознать человека, связавшего воедину своих двойников (Канта с Фау-

[1]) Idem.

стом, с Манихейским учителем); соединить два пути: путь линейный и путь неподвижного круга, — в спираль.

Мы в своем „Winterreise“ должны понимать, что движенья вперед больше нет, как и нет больше догмата; перевоплощенье положенных импульсов нас осеняет; и мы узнаем: в Франце Шуберте перевоплощенного Баха; в Бахе мы слышим: звучание Августиновой жизни; в звучаниях «Исповеди» узнаем в свою очередь: отблески лучезарного образа на пути в наш Дамаск.

Осознать этот образ — понять: импульс новой культуры.

26.

Но Ницше не понял того, встретив «ворона» посвящения, не осилил его; не стал «вороном; «ворон» ему расклевал его мозг зимним криком о вечном возврате; он мог бы сказать, убегая из.. Базеля:

Eine Krähe ist mit mir
Von der Stadt gezogen.

И как странник из зимнего странствия Шуберта пред сумашествием он восклицает, быть может:

Krähe wunderliches Tier!

„Krähe“ — каркает в Базеле, нападая на странников; голос его и я слышал; в Базеле часто «безумием становится узник! С безумием... пленная воля освобождает себя»[1]).

Это мне подсказало мое пребывание в Базеле — зимнее странствие, „Winterreise“ мое, начиналося здесь; освобождала себя из тисков, зажимавших в России меня, моя пленная воля; я встретил под Базелем тень Заратустры; и каркала здесь мне ворона; недавно бежал я из Базеля в горы; и вот:

Eine Krähe ist mit mir
Von der Stadt gezogen.

27.

Громыхала уже из Эльзаса война; я, измученный пушечным громом, бежал из-под Базеля в горы — в сопровождении брюнета (наверное сыщика международного сыска); в Лозанне, в

[1]) Idem

Люцерне и в Цюрихе всюду его узнавал: за стеною отельного номера; на прогулке и в поезде; он садился не рядом, а — наискось: где нибудь в уголке; появленья его я не мог обнаружить; во время движения поезда, обыкновенно в минуту, когда отдавалась душа пейзажу летящих долин, деревень, горных гребней, когда на душе становилось легко, и — отпадало все мрачное, — именно в эту минуту всегда обнаруживал я мою злую ворону: меня дозирающий глаз (черный глаз), черный ус, и протянутый кончик вороньего носа:

— «Вот — я».

Сколько бы ни старался с презрением я относиться к сопровождающей личности, все обволакивалось неприятным туманом во мне.

Eine Krähe ist mit mir
Von der Stadt gezogen.

28.

Мой брюнет в котелке — сыщик? Кто его знает. Принадлежал он — к чему? К — международному обществу обрывания всех нежнейших порывов — к страшному братству, давно обрекающему на погибель того, в ком раз вспыхивал дух; кто они — братья гибели?

Ими окованы мы; окружены страшным сыском; души наши при помощи страшных, магических действий, влитых в обыденные действия, соединяются с... Демонами, выгрызающими сознание наше, и в ночь уводящими; окружены котелками, принадлежащими этому вот вороньему носу, который просунулся в Базеле в мою личную жизнь: в год войны; системою шпионажа и сыска — душевного сыска — предупреждается ими касание Духа; они стерегут на горах; и подкрадываясь, бесчеловечно бросают нас в бездны; поганые их инструменты, расставленные в душевном пространстве, показывают своей стрелкой туда, где родился «младенец» в душе человека; гонения начинаются; вы посещаете, скажем, концерт; и — встречаете «сыщика», да —

.... в собрании каждом людей
Эти тайные сыщики есть[1]).

Гонения начинаются; духовно родивший «младенца» (иль духа в душе) пусть бежит: вот появятся воины Ирода (для

[1]) А. Блок.

избиенья «младенца»); и персонажи международно-астрального сыска устроют охоту (принцип государственности — великолепный экран, которым о н и заслоняли ужасные действия от человечества, обреченного и м и на гибель); за охраною государственных интересов стоит д и а в о л о в ч е р н ы й у ч а с т о к; и, появись одаренная личность, они постараются во-время заклеймить ее страшным клеймом: государственного преступления.

В Базеле понял я это; за мною из Базеля в горы перелетела крикливо ворона:

Eine Krähe ist mit mir
Von der Stadt gezogen.

29.

Наша жизнь — мертвый Базель, откуда мы бегаем в горы (Иоанново здание еще стоит недостроенным); нам вдогонку «вороны» бросают свой крик: «Остановись, обернись». Обернувшись, мы видим: предательский склон; наша тень там лежит опрокинута вниз головою; нам кажется: падаем мы; благоразумие заползает нам в душу; и мы возвращаемся: в Базель.

В о з в р а щ е н и е наше подобно падению в пропасть.

Возвращение к импульсам Ренессанса — залог зарождения новой культуры; возвращение к пирам его, к формам его есть падение в смерть. Ренессанс дал нам космос; но всякий космос в процессе создания вычеканивается из музыкально поющего хасса; повторение космоса — олеография; повторение форм Ренессанса — попранье заветов его.

Импульсы Ренессанса — в Александрии; и — ранее: импульсы эти льются на землю Видением Светлого Света: видением Павла; и повторение форм Ренессанса — закрытие нас от зовущего Света: каркасом, щитом.

Культ культуры, провозглашаемый многими есть такое деяние; самое страшное дело культуры — тенденция: быть насаждаемой государством; соединение государства с культурою — страшное дело; в поверхностном взятии это страшное дело творится повсюду: к а п и т а л и з м ему имя.

Возвращенье к п и р а м Ренессанса являет нам лик современной культуры не в образе и подобии Медичи; в образе и по-

добии Вандербильда и Ротшильда появляется культур-трегер пред нами.

Всем роскошествам жизни, комфортам культуры должны мы сказать наше «нет»; мы должны убежать от них в горы; отправится в зимнее странствие; пережить появление «Krähe»; и углубиться в ту самую мертвую улицу мертвого города, о которой нам сказано голосом странника:

Eine Strasse muss ich gehen
Die noch keiner kommt zurück.

30.

Запустение мерзости созерцает наш взор; мы под'ем достижения защищаем от мерзости; а о том, что наш путь не окончен (не начат еще), нам подумать нет времени; запустение устремило на нас свой чарующий взгляд, как удав: мы как птички летим в пасть удава; при этом мы думаем: мы — нападаем; быть может: так думает птичка, летя прямо в пасть.

Возвращение к ценностям современной культуры проистекает из страха пред зимним, томительным странствием: «Winterreise», как путь посвящения в «Вечерю» Леонардо-да-Винчи, рисуется страшным: уют кабинета, кусок пирога на столе, охраняемый государством, рисуется не запустением мерзости, а комфортом культуры; и мы, почитав комфортабельно странствия Вильгельма Мейстера, мы — возвращаемся: к четырем своим стенкам — и «куб» кабинета, отопленный паром, нам кажется шпицем культуры.

Но «куб» кабинета — «тюрьма».

Возвращение в «свой» кабинет — возвращение вверх пятами; и смысл кабинета есть смысл вверх пятами; себе говорите, что детские увлеченья мечтой разрешились эпохой оценки переоценок, переоценкой оценок.

Между о и пере — когда пропасть: скакать по предлогам опасней, чем думают (круты предлоги); неприложимая ни к чему бесглагольная несущественность есть предлог; и предлог возвращенья в уют государственных кабинетов культуры — один; он — занятие неприложимое ни к чему несущественностью: систематикою каталогов музейных реликвий культуры; здесь вместо творчества систематика порождает на свет: каталог каталогов (номен-

клатуру и термин); номенклатура из терминов — клавиатура рояля, где трогаем клавиш за клавишем мы, извлекая приятные звуки: «там-там — Рафаэль; там-там-там — Леонардо; там — Вагнер; та-та-та-там — Фридрих Ницше».

За этим приятным занятием над извлечением звуков культуры проводим мы время, не думая; звук извлекался в безделье пути; гамма звуков рояля культуры, которою мы забавляемся, есть любование рядом крестов и терновых венцов; состояние наше на пире культуры подобно тому, как еслиб мы наблюдали из цирка борьбу гладиаторов; перебирание клавишей инструмента (рояля культуры) сантиментально до крайности. Сантиментальность — есть скрытая форма: чудовищных, сладострастнейших импульсов.

Возвращение в «куб» кабинета к культуре — занятие сладострастной игрою — к добру не ведет.

Тихий вечер; и — звуки рояля; и — голос, поющий „Die Krähe". Безумец: прислушайтесь... Как стучит ваше сердце!.. Э, да спите ли вы по ночам? Вы ответите «нет».

Еще спите?

Настанет для вас пробуждение; пол кабинета провалится; вы непосредственно с креслом повиснете над провалами ночи: там будет луна — нападающий, пухнущий, каменный глобус, летящий на вас; это будет иллюзия: свалитесь в пропасть; а дом, из которого выпали вы, затеряется праздно над вами: пустой оболочкою; благоразумие, вас вернув в «куб» культуры (в домашний уют), вас вернуло туда, чтобы... сбросить стремительно: вместо того, чтоб уйти добровольно, как странник, — в зиму (чрез зиму) к таинственно скрытому Солнцу, предусмотрительно запасаясь одеждою, будете сброшены вы в тот же холод насильственно, без возможности вооружиться заранее против случайностей странствий.

31.

Не случилось ли это теперь? Государственный «куб» кабинета, в который ушли культур-трэгеры, не отряхшие прах государства от ног, — оказался для них: пересыльной тюрьмой, из которой насильственно выгнали их в ледяные окопы; обманны рояльные звуки — они оказались иными, зловещими, звуками... пушек; «там-там» — вот летит чемодан; «там-там-там» — разорвался, убивши осколками чуть ли не всю

молодую поэзию Франции; «т а м» — убит Ласк; «т а м» — на штык сахарийского негра посажен историк культуры, читавший здесь, в Базеле, университетские лекции. Клавиатура рояля, подаренная государством культуре, теперь оказалась обманом: к л а в и а т у р о ю п у ш е ч н ы х з в у к о в о н а о к а з а л а с ь.

Отказы от «з и м н е г о с т р а н с т в и я» привели: к порабощенью в застенках — тончайших и лучших из нас; вот их всех, как преступников, в з и м н ю ю н о ч ь повлекли чрез поля и леса к льдом покрытым окопам; чугунные пальцы — гранаты — трещат и клюют их разорванный мозг, проломавши им череп; поют дружным хором отряды бесправных рабов, выступая из города в з и м н е е странствие, — песню:

Eine Krähe ist mit mir
Von der Stadt gezogen.

Испытание, если мы гоним его изнутри, нападает извне: сумасшествием, мором, войною и голодом.

32.

Запустения мерзости не увидели мы: посредине нам данного «куба» культуры; «когда же увидите мерзость запустения... стоящую, где не должно, тогда... да бегут в горы» (Марк)... «Кто на кровле, тот не сходи в дом... И кто на поле, не обращайся назад...» Мы же все —обращаемся; но обращение наше на мерзость — начало себя повторения в ней.

Не в стоянье с мечом — охранение идеалов культуры, завещанных Ницше; и не в нападенье на ниже лежащее (нападеньем на Регера ничего не докажешь в Бетховене; и искаженьем чего бы то ни было во славу Гете, не выявишь Гете); восходя от лежащего ниже, его побеждаем; мы с мельницами к р у г о в о г о д в и ж е н и я ничего ни поделаем, разве что... попадем в положение Дон-Кихота; опишем на крыльях ее полный круг, ударившись больно о камень, с которого возлетели: ударился Ницше о в е ч н ы й в о з в р а т; начал жизнь, как герой; кончил жизнь — Дон-Кихотом.

Вспомним — первая весть возвращения начинается возгласом Ницше: «На ноги, ты, голову кружащая мысль, явленная глубиной существа моего»... Странная нота веселья

охватывает одинокого странника, Заратустру: не эта ли странная нота веселья охватывает другого, нам близкого, странника — странника «Winterreise» — при встрече с шарманщиком; этот странный шарманщик, которого избегая, не слышим мы, не подавая ему ничего, — и есть искус возврата: стоит он там именно, где начинается в нашем пути поворот на себя (поворот Заратустры на тень! «Не высоты пугают, а — склоны»... «Самое время есть круг[1]):

Keiner mag ihn hören,
Keiner hat ihn gern —
Und sein kleiner Teller
Bleibt ihm immer leer.

Странник, увидевши странного старца, шарманщика, («Самое время есть круг»), восклицает:

Wunderlicher Greise
Soll ich mit dir gehn;
Wirst zu meinen Liedern
Deine Leier drehn.

(Странный старец, я пойду за тобой, ты завертишь шарманку для песен моих.) Далее обрывается цикл «Winterreise». Что следует дальше? Сумасшествие Заратустры, не выдержавшего испытания вечным возвратом, воскликнувшего как и Странник, из зимнего странствия: «Ты завертишь шарманку для песен моих».

Головокруженье, Vertige, начинается далее: «на ноги, ты, голову кружащая мысль[2]).

Встречу с вечностью переживает он «вечным возвратом»; что-то в нем искажает зов вечности: это что-то — иль Ницшева черная точка — переживание «Я», не как внеличного Индивидуума, а как распухшей и выросшей личности: «Я» — заснувший дракон»[3])...

Это есть та же страшная Krähe — ворона сознания (личное я), потянувшаяся из Базеля в горы за Ницше:

Eine Krähe ist mit mir
Von der Stadt gezogen.

---

[1]) «Так говорил Заратустра».
[2]) Idem.
[3]) Idem.

Мог бы воскликнуть он:

Krähe wunderliches Tier!

Krähe каркает Ницше: «вернулся, — значит ты и прежде бывал: если бывал, то и будешь».

Под луною нет нового.

И Заратустра терзается: «А, оставь . . . Отвращение! . . .» [1]). Далее: наступает немое молчание Ницше: его тихий час; тихий час повторяется; Ницше становится сам тихим часом; культура за ним — есть сплошной тихий час... перед взрывом всех зданий: каркасов культуры.

Но мы тихий час принимали за пастораль кабинета, тихий час — нагнетание атмосферного электричества перед громом грозы; гром последовал: комфортабельный кабинет ваш разорван, глухой культур-трэгер! тогда вы не слушали, слышите ли вы... хоть теперь: еще время вам есть — убегайте, спасайтесь скорей из под обломков комфорта[2]).

33.

Ницше есть острие всей культуры; его острие — встреча с карликом «возвращения». Увлечение Ницше и Ибсеном было подлинно в нас; на одно лишь мгновение захотели мы в горы; в горах оказались сырыми и теплыми мы; парстолбом, клуб душевности занавесил туманом тропу восхождения к духу; прорезались странности в нас (посредине горы—меж долиной и верхом горы — обитают кретины; спаленные молнией духа); мы стали кретинами; в Ницше увидели мы не тело, ломимое духом: литературную форму; и — стали мы ей подражать, гримасируя символом; наш хронический кретинизм развивался для нас в культур-трэгерство; всякий раз нас звали рискнуть всей жизнью во имя вершинных заданий, мы зовы зовущих передаем . . . переплетчику; так в муаровом переплете пред нами лежали «творения»: переплет раздавил зовы жизни.

---

[1]) Idem.

[2]) В 1912 году я писал культур-трэгерам: «нагнетая атмосферное электричество у себя в кабинете, мы превращаем атмосферу этого кабинета в атмосферу грозы: как бы не было молнии.... Молния вокруг стен, — молния, поражающая нас в сердце» (См. статья «Круговое Движение» в журнале «Труды и дни»). Мне ответили из Москвы приблизительно следующее: «автор статьи «Круговое движение» есть безответственный жеребец!». События оправдали меня.

34.

Ницше есть разговор вопиющего Бога с . . . кретином; он — Бог и «кретин»; отпечатками «странности» говорит «Заратустра»: воображение одухотворяется в нем до . . . пункта встречи с «шарманкой» возврата. Шарманщик, он говорит:

Wunderlicher Greis,
Soll ich mit dir gehn;
Wirst zu meinen Liedern,
Deine Leier drehn.

Орел духа в нем борется с страшным у д а в о м: змеею возврата; борьба гадины и орла продолжается годы; она — без'исходна: соединение гадины и орла есть д р а к о н; в глубине его личности, н а п о р о г е грядущей культуры, из недр, вырастает дракон: «я — заснувший дракон».

Сумасшествием, или драконом, предстали пред нами последние вехи когда-то огромной культуры; импульс жизни нисходит в о а д нашей жизни, чтоб нас приподнять до себя; в приподымании жизни прежнего импульса — перелом нашей жизни; «кубический» кабинет с т и х и м ч а с о м, таящимся в нем, — гроб и ад: выход в з и м н е е с т р а н с т в и е всей человеческой жизни — вот что знаменует: страдание Ницше; он — распят в своем кабинете, куда возвратился из гор с «полпути» (не дойдя до вершины). С ним вместе культура от первого до двадцатого века нарисовала градацию

Свет, низошедший в Распятого, Павел, Плотин, Августин, Леонардо, двоящийся Фауст, распавшийся в Канта и Ницше (Кант «есть кабинеты культуры», и «Ницше» — попытка начать восхождение). Через строй этих личностей (от Августина до Ницше), их всех проницая, проходит невидимо скрытый источник, построивший палитру красок, градацию фуг и соборов; вот он запевает из Баха, рыдает в Бетховене; в нашем веке прорылся он вглубь, до источника, скрытого в нас, чтобы вырвался этот плененный источник; и — брызнул на небо; чтоб п о л п у т и, описавши спираль, и отлагаясь то в линии, то в окружности, стало: п у т е м — нашим странствием к «Вечери».

35.

Ницше приняли мы; и все с т р а н н о с т и Ницше мы приняли, как бациллы болезней, точащих наш мозг; мог он быть и д р о ж ж а м и для нас, если б поняли мы, что и круг, и линейность

культуры есть ложь; «ворон» времени, «круг» безвременности (или — «шарманщик») суть искусы; искус пытался осилить неистовый «Фридрих»; привит себе яд повторений; не удалася прививка; и — повторение Ницше осилило; раздавила его тяжеловесная косность «культуры»: «кубический» кабинет — комфорт, «Кант».

Наше спасение в резвости; резвости этой названье — борьба «не на живот, а на смерть»; мы опять подменяем ее суррогатами, тарантеллами рассудочной мысли (происхождение «тарантеллы» — укусы тарантула); кто «тарантул»? Кант, Кант — разумеется!

Современная философия научила нас резвости; в ней очищенный разум, или кантовский разум (в котором, заметим, от Канта почти ничего не осталось) кидается в пропасти безбытийного смысла: летит вверх пятами; и модернист-гносеолог летит вверх пятами — за ним, продолжая держать том почтеннейшей «Критики... Разума» полуоткрытым, и — читая навыворот: справа налево; и снизу наверх. Получается какая-то восточная ерунда: «Амузар огатсич акитирк» (вместо: «Критика чистого разума»).

«Амузар» есть восточное слово.

36.

«Кант был идиот», сказал Ницше: но «идиот» — победил «мудреца»; завершение кантианства есть теория, обосновывающая «круговое движение» (пусть смеются философы!). Построение фразы «Сознание есть форма формы сознания» кантианизирует наше воззрение на сознание, преломляясь в философии Ласка (увы, Ласк убит на войне!); модернизм философии — круговое движение, здесь сознание оплодотворяет себя: гермафродитно сознание; гермафродитен — «философистик-философутик» культуры, исшедший из Ласка и Когена; среди компании «снобов, сатиров, эйленшпигелей» современной культуры воистину он занимает в рядах этих чортиков не последнее место, их всех оформляя и ориентируя в «Канте»; при этом он выглядит: ни ребенком, ни мужем, а — развращенным мальчишкою, Ницше отведавшим; мозг его, разбухая, ломает свою черепную коробку, вываливаясь лопастями и протягиваясь во все стороны; туловище атрофируется; новоиспеченный «таран-

тулик», закружась на ногах (лопастях долей мозга), кидается в стороны скачущих «сатиров» и порхающих «эйленшпигелей» — сынков миллиардеров, коллекционеров и библиографов.

37.

В выси мы не отправились, а — скатились: к «культуре», из недра которой теперь бьют в нас пушки: безумие гор подменили мы «Кантом» и «Круппом», предварительно (для комфорта) заставив обоих «полотнами» горных ландшафтов.

Переживанье под'ема в себе подменили мы: переживанием созерцания гор (или — просто сидением на верандах швейцарских отелей); не на горы взбирались мы: просто пошли в диораму; такой диорамою оказался театр: драма Ибсена; там увидели мы и актера, изображавшего Рубека и — зашагавшего по деревянным подмосткам по... направлению к коленкоровым ледникам, чтобы быть опрокинутым: белой лавиною... из... прессованной ваты; перемещение жизни сказалося — разве: заменою олеографических декораций — иными, построенными по принципу: треугольников, кубов и девяностоградусных, жестикуляционных углов; зашагали театры на этих углах к ледникам; люди в них поприклеились фресками к стенкам театра; так со сцены сошел, забродя среди нас, стилизованный гений культуры; невероятно упрощенный — в неупрощаемом вовсе.

Нельзя безнаказанно упрощать человеческий жест; упрощая его в человеке, приходим к звериному жесту; упрощенность в человеке рождает кретина; кретин появился на сцене (смотри «Драму Жизни»); и — зверь появился (негр пьесы «У жизни в лапах»): тот негр, что проткнул своим острым штыком (при сраженьи в Эльзасе) профессора базельского университета: занявшего кафедру . . . Якова Бурхардта!

Не Заратустра вошел в нашу жизнь, а ворвался в нее Страшный Негр (будет день, и — ворвется Китаец); «арлекинадою» обернулся в нас Ницше; и «маскарадом» войны проливаются в душу культуры: Китайцы и Негры.

38.

Другая особенность пресловутой реформы театра (пересоздание жизни свели мы к театру) в вертящейся сцене: здесь

vertige возвращения выявлен: круговращением репертуара на сцене; описан им круг: театральное оп'яненье от стадии легкой веселости (отыскание новых форм) перешло к отысканию несуразностей; и — кретинизма: (явление «Анафемы», или Зеленого Змия на сцене); последовал — сон; и за ним пробужденье: Островский; пересозданье жизни в нас сценою, подменяя пересозданием жизни на сцене, окончилось: сценой в трактире; вращаясь, довольная сцена пришла: от заданий мистерий — к... мистерии анекдота кулис; пока шло превращение сцен, зазевавшийся зритель-вращался в обратную сторону: от «Строителя Сольнеса» к... увеселениям кабарэ; «Диониса» нашел он в шантане: в блистательном Танго.

Увы, современная сцена не зацепилась за зрителя, а современная философия не зацепилась за жизнь, превращая замерзшую мысль в хоровод категорий рассудка подобно тому, как ледник превратился на сцене в куски коленкора; лавина — в летящие части перепрессованной ваты.

Вдруг грянули выстрелы там, где была диорама; диорамный экран опирался на толстую пушку, которая заплавала гранатой. Культура искусств прозияла дырой.

Разум наш сорвался: возвращение к «Критике Чистого Разума» — пастораль над чудовищным кратером; уголь, селитра и сера — полезны; но — следует помнить: мешая в себе их, мы... действуем... с порохом; менуэт с философией — взрыв.

39.

Мы вступили за Ницше на выси сладчайшего чаянья; и мы видели: Ницше погиб. Не одно ль осталось: начать с того места, где кончил он — так, как он кончил (погибнуть для ниже лежащего), чтобы кончить, как начал он.

Начал с мистерии он; и оттого, что он начал с мистерии, мог говорить он: «я — благостный вестник . . . я знаю задачи такой высоты, для которых . . . недоставало понятий; впервые с меня... существуют надежды»[1]).

Задания наши — в обнаружении импульса, данного Ницше культуре; и в совлечении с этого импульса завесей: сенсуализма, «научности» «естествознания д-ра Рэ», безразумно-

[1]) «Ecce Homo».

сти, бракovавшей рассудочно мысль (Диониса Второго); задания Александрии не поняты; и — упрощен Ренессанс.

Совлекши все это с сознания Фридриха Ницше, мы видим лишь . . . символы: молча кивают они . . . проницающим импульсом; Ницше зовет: к голубям и к цветам[1]); облаками любви опускаются голуби[2]); символы светятся солнцем; и «Civitas Solis» спускается в сердце; и он говорит теперь: «Слышишь без поисков . . .» и — «как молния вспыхивает мысль, с необходимостью . . . без колебания»; приподнимается золотая, старинная чаша из «счастья, где . . . и . . . жестоко действует . . . внутри . . . избытка света»[3]).

Словом мысли теперь словно мыслят себя.

И такие вот мысли суть струи источника: импульса Ницше.

40.

Состояние оживления и очищения мысли есть нерв «Эннеад»; исходя из проблемы души, восходя к очищению мысли. Плотин проповедует: созерцание умственных пейзажей вселенной; преображенно сверкает в нем орфико-пифагорейская школа: поэзией мысли, экстазом; здесь линия мысли натянута; и — струна — извлекает свой звук она; далее эта струна, вдруг заплавясь, как ясная змейка бежит: живоносным источником; мы, бросаясь с него, пролетаем: в ландшафты феорий.

И говорит Рудольф Штейнер об этом же состоянии мысли:

In deinem Denken leben Weltgedanken . . .
In deinem Fühlen weben Weltenkräfte,
In deinem Wollen wirken Willenswesen.

В таком состоянье сознания к Фридриху Ницше пришел Заратустра.

41.

Здесь, под Базелем, вспоминаю текучие мысли мои; и текучие мысли мои переносят меня в Христианию, в Льян, где с женою мы прожили под лучами норвежских закатов, над фиордом, в уютнейшей комнате, не имевшей четвертой стены; там стеклянная дверь на балкончик, висящий над фиордом, да окна

---

[1]) «Так говорил Заратустра».
[2]) Idem.
[3]) «Ecce Homo», стр. 88.

— бросили пространства воды в чересчур освещенную комнату; впечатление, что она — только лодка, не покидало меня; мне казалось: на двух перевязанных лодках из досок устроили пол; на пол бросили столики, кресла; на креслах сидели (с ногами): с утра и до вечера, погружаясь то в думы, то — в схемы, пестрящее множество в беспорядке лежащих листов; два окна и стеклянная дверь в нашу комнату наполняли пространствами бирюзового воздуха; и казалось: незамкнутой стороной зачерпнет наша комната бирюзового воздуха, опрокинется (не успеем вскричать); и — очутимся в ясных пространствах.

Норвежским закатам, отряхивающим окрестности, я удивляюсь: спокойная ясность пресуществляет фиорды; дыханием воздуха тянутся дали; висит яснолапое облако; желтолимонные полосы влаги льются, туманясь; и — гаснут.

Бывало, закутавшись в плащ, прочерпев силуэтом высокого копюшона и прыгая с камня на камень, жена опускается к водам: прислушиваться к разговору испуганных струечек, плещущим в камни; и, жмурясь от света, следим за медузами; вспыхивает невероятный закат; и — не хочет погаснуть.

Размышления наши, которым отдались мы в Льяне, продолжили линию мысли, чертимую в месяцах; мимо неслись города: Мюнхен, Базель, Фицнау, пооткрывались откуда-то издали галлереи, музеи: суровый Грюнвальд, Лука Кранах, блистающий красками, Дюрер и младший Гольбейн нам бросали невыразимую мысль своей палитры; плакало темной, зеленой струей Фирвальдштетское озеро, над которым задумался некогда Вагнер из «Трибшина»; Рудольф Штейнер гремел своим курсом из Мюнхена, Базеля; острая линия мысли нам рыла колодезь; пронесся и Страсбург: готический стиль „flamboyant" нас обжег; пролетел Нюренберг; прошумели над Штуттгартом сосны в немом Дегерлохе; промчалися Кельн и Берлин; приоткрылись «послания» Павла и дивная «Гита» из Гельсингфорса и Кельна; из Дрездена поглядела Мадонна; и — вот: Христиания, Льян.

Переменялись места: непеременчивый центр оставался — работа над мыслью.

42.

Перемещенья сознания нас посещали; и мыслили мысли себя; и в потоках из мысли вставали потоки из мысли жены моей, Аси; бывала она в существе моих мыслей; и узнавали

друг друга: друг в друге; и схемами невыразимейших состояний сознания мы проницали друг друга до дна; мысле-образы Аси мне стали: меня посещавшими существами души; и в альбоме у Аси я видел начертанными все мои мысле-образы: вот — распинаемый голубь из света, и гексаграмма, и крылья без глав, и крылатый кристалл, и орнамент спиралей (биенье эфирного тела), и чаша (иль горло-Грааль), и..., я знаю: рисунки лишь символы мысленных ритмов живейшего импульса, перерезавшего нас.

43.

Я садился в удобное кресло на малой террасе, висящей над соснами, толщами камня, и — фиордом; сосредоточивал все внимание на мысли, втягивающей в себя мои чувства и импульсы; тело, покрытое ритмами мысли, не слышало косности органов: ясное что-то во мне отлетало чрез череп в огромность, живоперяяся ритмами, как крылами (крылатые образы — ритмы: расположение ангельских крылей, их форма, число — эвритмично); я был многокрылием; прядали искры из глаз, сопрягаяся; пряжею искр мне творилися образы: и распинаемый голубь из света, безглавые крылья, крылатый кристалл, завиваясь спиралями, развивались спиралями (как полюбил я орнамент спиралей в альбоме у Аси); однажды сложился мне знак: треугольник из молний, поставленный на светлейший кристалл, рассылающий космосы блеска: и «око» — внутри (этот знак вы увидите в книге у Якова Беме).

Все думы, сжимаяся, образовались во мне, как спираль; уносясь, я буравил пространства стихийного моря; закинь в этот миг свою голову я, — не оттенок лазури я видел бы в небе, а грозный и черный пролом, разрывающий холодом тело, вобравший меня, умирающего в невероятных мучениях; понял бы я, пролом в никуда и ничто есть отверстие правды: загробного мира; зажегся бы он мне лазурями, переливаяся светами (сферу лазури я видал в альбоме у Аси), втягивая меня сквозь себя; излетел бы из темени, паром взлетающим с шумом в отверстие самоварной трубы; стал бы сферою я, много-очито глядящею в пункт посредине; и, щупая пункт, ощущал бы, как холод, дрожащую кожу; и тело мое мне бы было, как косточка сочного персика; я — без кожи, разлитый во всем, ощутил бы себя зодиаком.

(Зодиакальные схемы в альбоме у Аси меня убеждали, что наша работа вела нас единым путем).

В звездоглазые существа я распался бы: был бы во мне звучный рой; был бы духом я звездно-пчелиного роя; мои золотистые пчелки слетелись бы в пункт, расширяемый куполом тельного храма (иль улея): знал бы, влетая я всем роем в отверстие купола (или в отверстие темени) — знал: вот мысли мои перестают себя мыслить; и — медитация кончена.

Вновь возникала терраса с верхушкой сосны; поворачивал голову к Асе; и видел ее: точно струночка в беленьком платьице с блесками глаз, разрывающими все лицо и лиющими ясность здоровья на весь ее облик, — смеялась мне радостно; взявшись за руки, мы шли на прогулку; вот жмурясь от света и прыгая с камня на камень, сбегаем к фиорду: глядеться в плескание струй, любоваться медузами.

Роями сквозных звездо-пчёл мы сливались в одно звездопчелие, переносясь в сферу мысли; и — разлетались вновь к... куполам наших тельных, оставленных храмов; мы знали, что призваны поработать над храмами, вырезая работою мысли из дерева чувственных импульсов великолепные капители канонов сознательной жизни; я знаю, что Ася, бывая во храме моем, надо мною работала тяжеловеснейшим молотком и стамескою: вырезала в моем существе те страннейшие формы воспоминаний о дорожденной стране, из которых сложился впоследствии «Котик Летаев».

Мы потом заработали в Дорнахе над деревянными формами пляшущих архитравов и гигантских порталов Иоаннова здания: вооруженный стамеской, срезая душистые стружки тяжелого, американского дуба, отчетливо пахнущие то миндалем, а то яблоком (от присутствия в дереве ароматичных бензольных эфиров), узнал я в градации граней, слагающих формы, градации мысленных ритмов; страну живомыслия: в ней побывали мы с Асей, работая в Льяне над мыслью; и купол «Иоаннова Здания» стал для меня символом: купола феоретических путешествий моих, оплотнения мыслелетов, слагающих здание новой культуры.

Культура и есть: кристаллизация живых ритмов парений — себя замышляющей мысли; арабески, спирали ее оплотневают впоследствии только простейшими формами: круговых, прямолинейных движений.

И возникают теории: линий культуры и возникают теории: ее плоских кругов.

Но в источнике мысли нет схем, есть живые, яснейшие арабески; спираль есть простейшая линия мыслелета; но в рассудочной мысли нет вовсе теорий спирально растущих культур; теория перевоплощенья первично положенной мысли в теориях культур-трэгеров разлагается на: теорию эволюции и — теорию догмата.

44.

Вечная смена мгновений и жизнь во мгновении — есть линия эволюций; и философия «мига» протянута линией в ней; декадент, проповедник мгновения, защищается в сущности ... Гербертом Спенсером.

Круг отрицает мгновение; философия линий, себя укусивших за хвост, — догматизм: — эволюция свернута внутри круга из мысли; и в догмате бегает вечное возвращение мигов; в движении вперед не имеет плода; под луною нет нового.

Правда спирали соединяет круг с линией. Соединение трех движений — в умение управлять всеми способами передвигать свои мысли; культура, которую чаем, дана в двух проэкциях: в параллелях из труб, закоптивших нам небо, в кругах государственных горизонтов, сжимающих творчество.

Ареопагит нарисовал три движения мысли; прямое, ведущее нас к сверх-чувственной мысли; спиральное и круговое; последнее, завершаясь экстазами, сковано в догматы.

Эти колеса из мысли не суть аллегории: образы ритмов; чинов иерархической жизни отцы называли «умами: «Сего ради и в нашем священническом предании первые умы называются... светодательными... силами»[1]).

Говорит Рудольф Штейнер: «По отношению к существам,... которые достигают ступени бытия уже в духовном мире, —... у человека бывает такое чувство, что эти существа состоят всецело из субстанции мысли,... что существа... живут... в ткани мысли... И это их мысле-бытие... действует обратно

---

[1]) Дионисий Ареопагит. «О Небесной Иерархии». Издание 1786 года, стр. 57.

на мир. Мысли, которые суть существа, ведут беседу с другими мыслями, которые суть также существа»[1]).

Образование ритмов, колес, — есть попытка представить сверхчувственность мысли в материи чувств; «образования у людей духовно-опытных носят наименованья колес (чакрамов), или также — «цветов лотоса». Они называются так по... сходству с колесами и цветами... Когда... ученик начинает... свои упражнения, то... они начинают вращаться»[2]). «Над лежит... рассмотреть, что суть... колеса... Можно... истолковывать описание у м н ы х к о л е с»[3])... и т. д. «И вот... по одному колесу перед четырьмя лицами их...; и по виду их, и по устроению их казалось, будто колесо находится в колесе... А ободья их —... ободья их у всех четырех вокруг полны были глаз»[4])...

И вспыхнула, и осветилась мгла:
Все — вспомнилось... Не поднялось вопроса:
В к а к и е т о к и п я щ и е к о л е с а.
Д у ш а м о я, р а с п л а в я с ь, п р о т е к л а.

45.

Сказанное в вечных книгах есть правда и жизнь; и потому то все вечные книги — не книги, а сваянные созданья из искр; самый видимый мир — только сердце какого-то существа, брошенного от вселенной к вселенной.

Книга есть существо; пересекая трех-мерность, четвертое измерение книги и образует куб книги: или — книжечку in octavo; страница есть плоскость; строка — это линия.

В чтении, производим движение: мы проводим по линии строчку; перенося строку, мы почти образуем движением глаз полный круг; присоединяя к странице страницу, мы чертим спирали, правдивая книга — спиральна; в ней вечная перемена бессменно лежащего; правда: п е р е в о п л о щ е н и е неизменного в ней.

Если бы линия эволюции осуществляла бы жизнь, книг бы не было: пока пишешь, уж все изменилось в тебе. Если в мире

---

[1]) Рудольф Штейнер: «Порог духовного мира». Стр. 87. Изд. «Духовное Знание». 1917 год.
[2]) Рудольф Штейнер: «Путь Посвящения».
[3]) Дионисий Ареопагит: «О Небесной Иерархии». Стр. 105 Изд. 1786 года.
[4]) Книга пророка Иезекииля. Гл. I.

господствует круг, то до создания мира уж созданы книги; писать было б нечего; все написанное бы имело вид плоскости: плоскость есть круг. Лишь в спирали возможности книги — в перевоплощении однажды написанной книги: Судеб.

46.

Душа времени — есть единство себя сознающего центра; тот центр — наше «я»; душа строк есть единство себя построящей мысли (мысль наша в нас строится). Строки — первые в мысли телесности; они — нервное волокно, облекающее электрический ток мозгового удара; в ударах — пульсация строк; строки бьют по предметам; и тело мелькающих строк есть страница, она оплетает все строки (из соединительной ткани построены кости). Вся сумма страниц — толща мускулов; и заглавный лист — кожа. Так книжечка есть последнее облечение плотью живого создания, и проэкция в три измерения четырехмерного существа.

Книга — распятый ради нас в косный хаос материи светлый Архангел.

Но книг не читают...

Читайте и слушайте: вот удар первоздания; причаститесь архангельской мысли; ведь в книге — вещает народ; точно станете им расширяяся к родине: на аршин от себя во все стороны ощутите вы странные пульсы, они нарисуют ваш контур, переливающийся золотыми и синими искрами во все стороны; вы ощутите: уходите в землю, под землю — сквозь землю; и вы ощутите: уходите, выростая сквозь небо, и искры небесного свода, пульсируя, лягут на грудь; ваше небо с землею внутри существа вашей жизни: обнимает их действенно мысль.

Кто там стал — непомерный, огромный сияющий? Вы — вне себя: у себя Самого.

Обыденная мысль — крепкокостный скелет первой солнечной мысли, которая перекинула обыденное чувство чрез голову мысли: чувство — чувство пространства; пространство же — мускулы солнечного создания; воля теперь перекинута в высь через мускулы чувств, ибо воля есть — время; времена же лишь нервы существ нашей мысли; струя крови вселенной — она.

Вы теперь — только солнце, которе озарило страницу; то солнце, которое вписано в вас: от груди и до темени.

Вы за чтением книг — вне себя — у себя самого.

47.

И потому-то слова о «колесах», «кругах», «пентаграммах», «спиралях» и «линиях» мысли — слова об огромнейшей правде существ, обитающей даже в схемах рассудочной мысли; когда оживите ее, то вы скажете с Штейнером: «существа... живут в ткани мысли... Существа... состоят... из субстанции... мысли»... И сообщения мысли разыгрываются вечно подлинной жизнию: миры образов — оплотненья безобразной мысли; а предметы действительности — оплотненья фантазии; если мысль — чистый воздух, то образ есть облако, образованное от сгущения воздуха в водный пар; и потому-то фантазия есть сгущение воздуха мысли во влагу; природа, обставшая нас, кристаллизация влаги фантазии; не по образу и подобью нас обстающей природы под'емлется в нас мир фантазии, а по образу и подобию сгущаемой мысли; и оттого вдохновение — творчество мира.

Прав Ницше: «Инстинкт ритмических отношений... есть почти мера для силы вдохновения... Все происходит в высшей степени непроизвольно, но как бы в потоке... Силы, божественность... непроизвольность... Символа есть самое замечательное... Действительно, кажется,.. будто вещи приходят и предлагают себя»[1]... Это — «символы» Ницше. Они суть сложение первых зачатков грядущей природы в природе фантазии; и из символов выпадает впоследствии мир; существо символизма — строительство мира; культура поэтому символична всегда.

Кризисы современной культуры в смешении: цивилизации и культуры; цивилизация — выделка из природно нам данного; то, что некогда оплотнело, что стало, застыло, становится в цивилизации производственным потреблением (так из стали мы можем искусственно приготовить ножи); образованье материи стали из образа, в нас нисходящего свыше из мысли — культура; цивилизация — эволютивна всегда; инволютивна культура; в культуре из мыслесуществ, из страны жизни мысли вливается в душу нам нечто, что там оживает, как образ,

---

[1]) «Ecce homo» стр. 89.

который когда-нибудь выпадает, явной природою; образ есть символ; он — мысленен, то-есть, ж и в ; мысль есть солнце живое, сияющее многообразием блесков, лучей, иль... «умов» по выражению Ареопагита: они — существа иерархической жизни: Архангелы, Ангелы, Власти, Начала, Господства, Престолы; все образы в нас (иль — культуры) суть плоти их жизни; природные образы суть волосы, выростающие на чувственном теле.

48.

Напоминают мне Ангела: лилия, ирис и месяц; Архангела: пламя, меч, мак; а Начало передо мною вращается в голубой хризантеме; для Сил, цветный образ есть белая роза; Дух Мудрости — Голубой Колокольчик.

«Есть ли же кому покажутся сии, впрочем священные сложения толикого приятия достойными, что уже и простые вещи, сами по себе нам неведомые и невидимые, ими означаемые...: тот да ведает, что оные... совершенно отличны от них»[1]).

Символы формируют природу души, чтобы некогда формировать через душу иную природу: материки, на которых мы будем ходить, будут водными; после — воздушными; культуры отжившие в нас разлагаются в мир природных предметов и мир отвлеченных понятий; последний, извне налагаясь на первый, преобразует его в мир изделий; культура — фантазийна; а фантазия — мысленна; цивилизация — фабрична всегда.

Символ сущего — круг; воплощение сущего во время теперь — невозможно: цивилизация — линия; в ней сужается кругозор: наша жизнь — одномерна; в культуре, которую ждем, мы увидим соединение л и н и й с к р у г а м и: в с п и р а л ь с и м в о л и з м а.

49.

Линия — смена мгновений и жизнь во мгновении: правда покоится только в последнем мгновении; но оно — совокупность пережитого во времени; мы в последнем мгновении ощущаем всю линию времени кажется нам, что мы стали над временем: едем на времени; все безвременности в миге — иллюзия: ощущение быстроты не есть Вечность.

«Эволюция» есть изделие многих почтеннейших лбов; культ мгновения — есть изделие головы декадента; сомнение

---

[1]) Дионисий Ареопагит: «О Неб. Иер.» стр. 16

в сторону лбов: «неужели почтенная философия Герберта Спенсера вырождается в декадентство?» И — в сторону декадентов: они утонули в почтеннейшем Спенсере; эволюционная философия породила кубизм, футуризм, где последние миги искусств только хаосы первого мига (доисторических криков); миг выплющился полной окружностью; линия описала лишь круг.

В том — закон эволюции, что она, прогрессируя, отклоняется неизменно от линии... влево; и обращает прогрессы в регресс; эволюция переходит лишь в — вечное возвращение мига: прямая в ней — линия круга, которого радиус — бесконечность; окружность есть догмат.

И философия эволюции разрывается в догматизм.

50.

Мгновение отрицаемо кругом: пережитое — лишь малый отрезок пути; переживание было бы правдой в том случае лишь, если бы сущие и грядущие миги в нем были б implicite; их совокупность, вернувши к истоку, не изливалась бы в линию (вечное — вневременно: оно — в неподвижности); мысль — неподвижна; и неподвижность ее — догматизм.

Многообразие догматических истин во времени нарисовало в столетиях линию эволюции (догматов).

«Миг» эволюции раздувается из лягушки в корову: Коген есть лопнувший Спенсер; со Спенсером, лопнувшим в Канта, должны так же лопнуть в каноников творчества все футуристы. Футуристическая культура искусств есть канон.

Поэтому: есть в классицизме — кусок футуризма; бессюжетность встречается в линиях, из которых сложил рафаэлевский гений огромный сюжет.

Знаю линию «лопнувших» модернистов, кубистов: одни из них лопнули просто; друге долопались до... законченной формы канона: «каноны» суть догматы.

Идеал футуриста — не форма, а прихоти неврастеничного «мига», а идеал канониста есть форма (Венера Милосская); от «мигов» свободна ли форма? Бесформенна ль прихоть?

Воистину форма ее: точка в круге из догмата.

Философия догматизма твердит про отсутствие смысла во времени; эволюция предполагает и время и линию времени; в круге же — времени нет; но, увы: в утверждении отсутствия времени кроется «психологический» миг — сей плебей филосо-

фии; в определенный период истории философии стала она, философия, вне законов истории; историческая беззаконность ее исторически узаконена; действие, ей разрешенное: у н и ч т о ж е н ь е с е б я с а м о е.

И она — «психология», миг, нервный тик, содрогание, агония, и... трупность; весь новейший логизм — психология трупности.

Догмат не догмат уже раз он «е с т ь»; и раз есть «е с т ь» догмата; в этом есть — в нем самом бьющий миг, так что догмат — не к р у г, а — круг с точкою. Что связует круг с точкой? — Спираль.

51.

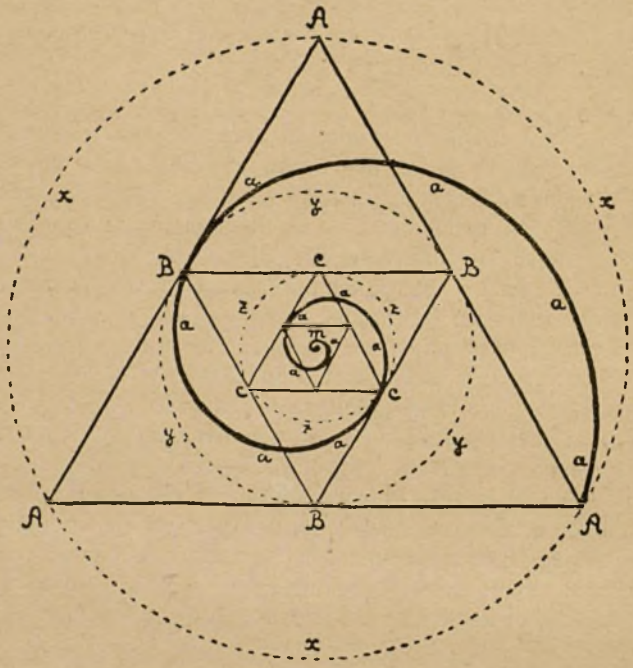
Зарождается в точке она: расширяется кругообразною линией, обегающей линию оси (прямую); спираль — круголиния; в ней эволюция, как и догмат — проэкции конуса обращенья на плоскостях, перпендикулярно поставленных; первая — есть треугольник: не линия, а две линии разбегаются книзу и кверху; обычная эволюционная линия (ось) — не дана; дан расщеп этой оси: ростущее противоречие в нем; мы видим отчетливо треугольник: не видим отчетливо: конус; и не видим мы линии; воображается, проведенная ось есть прямая; так нет эволюции в обыкновенном раскрытии этого т е м н о г о термина; есть примышление ограничительно допустимое лишь.

Созерцая движение спирали с другой проводимой проэкции — видим мы: круг и точку; сжимается линия эволюции в ней (философия Спенсера в афоризм декадента о правде мгновенья); а ее обегающий круг никогда не закончен (спираль не смыкаема в круг): догматический круг есть неправда; неправы догматики, сжавшие время в с и с т е м у.

52.

Символ есть измерение догмата: т р е т ь е его, глубина; ибо в символе догмат — не круг, а — спиралью построенный конус вращения; линия эволюция в конусе д о г м а т о - с и м в о л есть из единственной первоположенной точки ростущая плоскость кругов и фигур, в круги вписанных (например, треугольников с выростающими сторонами ССС, ВВВ, ААА); все точки всех линий фигур и окружностей, перетекая во времени, пухнут; в первоначальной вершине ростущего конуса — соединение мига и Вечности; свет наполняет весь конус; и гонит, и ширит,

Вид спирали в плоскости конуса вращения.

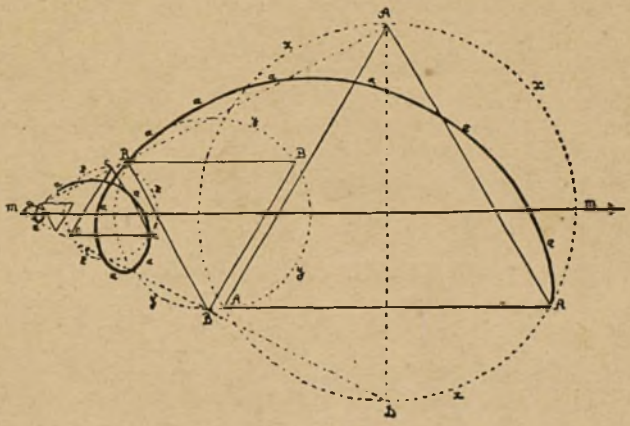


a—линия спирали.

m, A, D—проэкция конуса спирали.

z, y, x—проэкция несуществующих кругов развернутых в плоскость чертежа.

Вид спирали с левой стороны конуса (в перспективе).



AAA, BBB, CCC—треугольники догматических систем разнообразно поставленные в разном сечении времени (развернут в плоскость чертежа).

m—воображаемая линия эволюции.

ra—1 проэкц. точки эволюции (миг).

mA, mB—ангиномия раскрывающаяся в эволюции (линия образования конуса вращения спирали).

mA, mD—перспективная обводящая линия конуса вращения спирали.

вращаясь, бегущий, ростущий, вскрываемый догмат: в перевоплощениях времени.

Символизм — глубина догматизма; и — рост догматических истин; но опрокинутый в догматизм, уплощается он; опрокинутый в эволюцию — узится; и становится линией. Догматы, из которых иссякло линейное время — «круги ширины»; но все плоское ширится; и «синтетизм» догматических философий есть плоская ширина; а философия эволюции — узость дурной бесконечности; пересечение догматов — линия; споры философов, пересекая круги догматических истин, обрушили догматы философии прошлых веков в эволюционную линию философии Спенсера; она — пыль догматических истин, раздробленных в атомы афоризмов о миге: софизм декадента — венец ее.

В символе — наростание догмата в линии времени (из Δ «ССС» выростают: Δ «ВВВ», «ААА» и т. д.). Подлинный догмат о догматическом росте (иль догмато-символ) — коничен; его эволюция пишет спирали; спирально закручены линии всех треугольников; а — треугольник сечения в разнообразных сечениях разнообразно поставлен.

Мгновение догмата — пульс поворотов, где нет возвращения; догматы возвращения в догматах символизма, вращаясь, бегут: перевоплощенье однажды положенной правды в них видим, ростущей из точки до конуса; точка же есть человек; круг есть он же; и он же есть точка в окружности; но окружность иль шар, — это «мир»; мир и «я», я и «мир» суть единое в символическом догмате: то же гласит нам наука о духе.

И в нас треугольники вписаны: в главу, в сердце и в руку — углами; мы носим, мы движим, меняем их ритмы в себе; чувство, воля и ум, превращаяся и обратясь друг вкруг друга нам множит способности.

53.

Два искажения символизма встречаются: в люциферическом искусе философского догматизма, в ариманической эволюции; дважды в себя мы должны ложь распять, чтобы иметь: два видения: распятого Аримана и Люцифера.

Таковы два видения до «Видения» на пути в наш Дамаск. Первое у нас было; второе — является; третье — придет.

54.

Дионисизм чистой мысли не понят был Ницше; Александрия не понята; и легкомысленно взят Ренессанс.

Совлекал все это с сознания Ницше, вскрываем мы: символы, о которых им сказано: молча они нам кивают без слов; чем же символы молча кивают? светлеющим импульсом; Ницше зовет: к голубям и к цветам; опускаются голуби Духа трепещущей тучей любви; эти символы светятся солнцем: и — солнечный город спускается в сердце.

Наш отказ от Видения на пути в наш Дамаск — углубляет Видение, вставшее в сердце. Сознание Ницше отделено безымянностью в нем поющего импульса; в странствии, не озаренном никак, восходило для Ницше полночное солнце мгновениями; его песня — гимн к солнцу Франциска:

Ich schlief, ich schlief
Aus tiefem Traum bin ich erwacht...
Die Nacht ist tief
Und tiefer als der Tag gedacht.
Tief ist ihr Weh...
Lust tiefer noch als Herzensleid.
Wer spricht vergeh?
Doch alle Lust will Ewigkeit.

И воистину: вечности радости — радость о вечности; здесь соплетается Ницшева песня с всерадостным гимном Франциска.

И да: Заратустрово солнце разорвано; тайна его, — что оно есть завеса над Ликом, над Именем; Свет же единственный — оку не виден (видна лишь поверхность свечения); Солнце — завеса на лике живом.

55.

Этот Лик был отвержен решительно всей современной культурою; данный извне всем развитием жизни церковной Европы, не пропечатался в сокровеннейшем человеческом импульсе; он, безымянно струясь, пробиваясь в сознание индивидуальных носителей импульса, бурно отверг все печати церковного лика: в видении Павла, который не видел Христа; потом тот же импульс отбросил в лице Августина душевно-духовные представленья о лике VI-го столетия, очертивши нежданные русла свои в над-духовной обители, бывшей за-

крытой; туда излилась сила мысли: все лики, все образы, все иконы, все культы разбила, струясь, философия нового времени, изливаясь безобразной музыкой из русла форм религии; но и она «о к а р к а с и л а с ь», призастыла в рассудочность; так возникал восемнадцатый век; так протекал — девятнадцатый; Ницше, отвергнув «каркасы», отверг и «иконы»; идоложертвенной плоти не принял; кидаясь в чистейшие ритмы своих безымянных надежд; и — грохочущим солнцем, палящим из центра души, показал нам: мерцающий просветень новой культуры.

Второй Заратустра его — провозвестник: второго, сердечного солнца; проглядные ясности вымерцают из солнечных слов З а р а т у с т р ы в т о р о г о; но солнце его — полуночно; — он может сказать о себе:

В себе самом раз'ятый,
Как мглой небытия, —
В себе самом распятый
Светлею светом «Я».
В пустынном, темном мире
Рука моя растет:
В бессолнечные шири
«Я» солнечно простерт.

Он «узнал о Я» — Солнца второго; второе пришествие «я» (в нашем «я») провозгласил он пришествием в наше «я» Полуночного солнца. Но, оформляя то знанье учением о сверхчеловеке, — ошибся; не вырешил он, что он ждет «Человека» в себе — впереди себя: там — в миголете грядущих времен; но его время — круг; так: стоящий в вершине вращается в круге: в с е г д а в о з в р а щ а е т с я.

Не опознал: колесо миголета — внутри человека; оно — только прорези умных сердечных колес: и стоящее в точке («я» в «я») есть оясненный лик круга Солнца; и лик, как бы там ни назвать этот лик — человеком воистину, сверх-человеком, иль Богом — есть «я»; оно — «я» всего мира и «я» человека; явление связи двух «я» есть Христос.

В Заратустре — предощущенные восходящего Солнца: но солнце — бутон неразвернутой Розы: Х р и с т а или «я»; время бегает кругом; во времени все Заратустры (в т о р о й, как и п е р в ы й) предвестники. Так нам пропели лучи Заратустры: пришествием света.

Второе пришествие — есть!

В раскрывании брежжущей тайны — загадка культуры; и здесь: разрывание всех пластов, оковавших ее; она строилась преждевременным оплотнением живоносного импульса; оплотневал импульс жизни «в и д е н и я» Павла в церковной догматике, по отношению к которой, конечно же, Августин — протестант; оплотневал Августин протончением схоластической мысли; оседали кристаллы ее плотным камнем соборов; а импульсы жизни текли из соборов журчащими струями Баха; оплотневал самый Бах в разработанных музыкальных канонах, а импульсы жизни, сочась из искусства в кровь сердца, вскипали как «б у н т»: против всех; оплотнел самый «б у н т»; круговое движение Ницшева времени вырвалось из бунтарского постамента, из статуи Сверхчеловека-Антихриста: несказаннейшей, безымяннейшей нежностью: —

— Импульсом Сердца.

Новое имя («бунтарство» бунтарства, «я» самого «я») есть Христос.

So finde im Niedergang
Und in des Todes Nacht, —
Der Schöpfung neuen Anfang
Des Morgens junge Macht[1]).

56.

Догматы нашей культуры перевоплощалися в человечестве, свертываясь по спирали в единую точку; и точка та — «я»; «я» — свободное «я» — есть вершина громадного конуса; от основания (круга) к вершине (блистающей точке) бежала спираль; если круг — «зодиак», опоясавший человечество первого века, то точка есмь «я» (человек, проживающий ныне: в двадцатом столетии); если же повернуть конус времени — линия (или спираль) в этом новом сечении исчезает; мы видим: к р у г с т о ч к о ю п о с е р е д и н е е г о; точка — «я», находящееся в 1915 году в старом Базеле; круг — это догматы первого века; а катастрофа культуры — в естественном перемещении зрения перпендикулярно к истории; кажется, что спираль, пробегающая от громадного круга до маленькой точки, до «я» (на протяжении двадцати веков) совершается в тот же момент: круг пришествия (догмат) и «я» (иль п р и ш е д ш и й) таин-

[1]) Так в нисхождении и в мертвой ночи найди творенье нового начала и утро молодую мощь.

ственно связаны; тайна пришествия есть: пришествия «я» (совершенно свободно)... в Базель.

Если бы человек попытался себя пережить, как пришедшего, и если бы всю историю девятнадцати с лишним столетий рассматривал он, как сниманье печатей, разоблачающих миссию «я» (моего), переживающего, здесь в Базеле, мировую Голгофу, то — ему бы открылось все то, что из недра сознания Ницше исторгло безумнейший крик: «Ecce homo» сначала; следствие «Ecce homo» — последняя подпись безумного Ницше, гласящая, это он есть Распятый... (Дионис).

Но в тот же миг сознается обратное: «я», разрываясь в себе, распинаясь в себе, посередине себя наблюдает огромную ночь: посередине ее стоит Солнце: но Самое Солнце — Круг Солнца— есть Лик, восходящий во мне: «я», восходящее в «я», отделимо от «я» безысходной далью («я — путь и стремление к дальнему»); дальнее приближается в страшной работе: преодоления Сознания; я несу в себе целое Солнце, но «я» не есмь «Солнце», и если бы мне графически выразить отношение «точки» («я» личное) к Солнцу во мне, мне бы следовало нарисовать вдалеке от вершины истории двадцати веков (конуса) — круг; и — провести к нему линию; получился бы конус, обратно поставленный; «точка», мгновение, или «я», пребывающий в Базеле, понял бы, что «я» в будущем только могу стать воистину солнцем, которое Ницше увидел впервые, как прорезь возможности; следующий момент после Ницше — перемещение перспективы сознания, перпендикулярное к Ницшеву взгляду на «я», но обратное взгляду истории: солнце близится; станет поверхностью жизни оно, может быть, через двадцать столетий.

Второе пришествие — пресуществление в Христе всей планеты и «я», обитающих в Базеле, в Петербурге, в Саратове: совершится воистину.

Знание это теперь — математика новой души: в математике этой духовной науки загадана нам и культура грядущего.

Ныне стоим в самой точке перекрещения конусов: в Ницше; чрез бунт его, чрез его отрицание, чрез узнание тайны свободного, звездного «я» — все пройдут, как чрез ушко той иглы, которая ныне историю перерезала на-двое: по одну сторону стоят крики: «Несчастнейшего» Киркегора и «Единственного» Маркса Штирнера; в центре — «распятый Дионис» (эзотерическое название Ницше: он так себя назвал).

Относил я цветы на могилу покойного Фридриха Ницше: то было — под Лейпцигом; помню: припал на мгновенье к плите, лобызая ее; и — почувствовал явственно: конус истории отвалился таинственно вдруг от меня; мне казалось явственно, что событие путешествия нашего к праху почившего Ницше— событие неизмеримой, космической важности, и что я, преклоняясь к могиле, стою на вершине чудовищной исторической башни, которая — рухнула, отделилась от ног, так что я в пустоте — говорю: «Ecco homo».

И я — «Ecce homo».

Так мне показалось. И мне показалось еще: невероятное Солнце слетает: в меня!

Переживания на могиле у Ницше во мне отразились странной болезнью... продолжились — в Базеле; часто казалось: я — распятый; так бродил над зелеными, быстротекущими струями Рейна; вонзались тернии в человека, которое возносил я над Рейном; казалось, что гибель культуры носил я в себе; странно: тернии жизни моей обнаружились в Дорнахе мне.

Злобно каркнула здесь мне ворона.

Здесь — в Базеле, в Дорнахе — я подолгу смотрю на оранжево-красную черепицу домов; и — меня окружают, как Ницше кретины; здесь предан сожжению прах Моргенштерна. Отсюда я слушаю говоры пушек в Эльзасе; переживаю здесь гибель культуры; встречаю рождение новой; и — созерцаю два купола ясного здания.

Андрей Белый.

Базель-Дорнах-Москва.
1912 — 16 — 18 год.

1941 г.
Р. Акт № С-104/7
ФФ 93

1958

300p 181
qp70 B-5
1